



# **В номере:**

## **Килограмм надежды и отчаяния**

Роман Жени ДЕКИНОЙ «Кропаль» — это срез современного дна, история килограмма гашиша, преодолевающего путь от изготовителя в Чуйской долине к потребителю в Москве. Каждый из тех, кто пытается на запрещенном зелье заработать, уверен, что не делает ничего плохого — он просто попал в безвыходную ситуацию, и это его шанс на спасение, билет в лучшую жизнь. А на деле — всё обрачивается трагедией.

## **«В хоре тёмных звёзд и слепых чудес»**

Поэтический космос Вячеслава ШАПОВАЛОВА простирается во времени и пространстве от первых слов Адама до молчания хвостохранилищ, хотя «мир теряет слух, одинок простор, термоядерный в небесах костёр». Любовь КОЛЕСНИК утверждает, что «Человек человеку труд». Вариации на тему бытия наших современников подхвачены верлибрами Айгерим ТАЖИ, которая верит, что «тропа ведёт к себе», и лирикой Анны ГЕДЫМИН, вспоминающей о драгоценных близких людях: «и мы, как прежде, в общем хоре/ Споём по одному».

## **Американский парадокс**

«Многим наблюдателям представляется загадочной поддержка, которую оказывают BLM элитные круги, в их числе финансовые воротилы Уолл-стрит и Силиконовой долины; перспектива “экспроприации экспроприаторов”, по Марксу, о которой грубо напомнила гильотина, поставленная активистами BLM перед домом миллиардера Джека Безоса, не может их радовать; равно как и призрак “нового Коминтерна”. ... Кадры из эйзенштейновского «Октября», где революционные матросы перелезают через какие-то ворота, ведущие к Зимнему дворцу, всем хорошо известны». В своем провокационно неполиткорректном по меркам новой этики эссе «Время (и бремя) чёрных?» культуролог Юрий КАГРАМАНОВ размышляет о новом витке расового вопроса в США, опираясь на опыт истории — американской, западноевропейской и российской — в том числе русского большевизма.

## **«Вы верите в литературу?»**

«Советское общество — и писательское, в частности, — было ритуализировано и формализовано, — констатирует Олеся НИКОЛАЕВА. — Был у нас, условно говоря, поэт-интеллектуал — Арсений Тарковский, поэт-фронтовик — Александр Межиров, поэт-интеллигент — Давид Самойлов, поэт-лирик — Владимир Соколов, поэт-эстет — Александр Кушнер, поэт-бард — Булат Окуджава, поэт-лагерник — Анатолий Жигулин... А остальных в эти ниши не очень-то и пускали...» В этом номере — два портрета из будущей книги воспоминаний «Россия, Лета, Лорелея»: «поэта-формалиста» Семёна Кирсанова и «поэта-трибуна» Евгения Евтушенко.

## **Премиальное дело**

«В титрах какого-то старого советского фильма (30-х годов) после имени одного персонажа стояло: «Орденоносец». Звучало гордо. В начале 80-х, когда я этот фильм смотрел, это вызывало только усмешку. Орденов учреждено и навручено было уже столько, что они уже не означали почти ничего. За исключением, может быть, нескольких, вроде золотой звезды Героя. Они хоть что-то еще значили», — вспоминает Евгений АБДУЛЛАЕВ. И, возвращаясь на площадку современного литпроцесса: «То же самое случилось сегодня и с российскими литературными премиями, — призывает: — Не премиальте!»

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,  
Сайт журнала:  
<http://дружбанародов.ком>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

## *Редакционная коллегия*

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

 Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oao-mpk.ru](http://www.oao-mpk.ru) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

*Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.*

*Во всех случаях полиграфического  
брата в экземплярах журнала  
 обращаться в типографию, указанную  
 в выходных сведениях.*

*При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.*

Сдано в набор 20.06.2021.  
Подписано в печать 26.07.2021.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 9043. Цена свободная.

Мария АНУФРИЕВА

Сулейман АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН



## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Покровитель стад. <i>Стихи</i> .....	3
Женя ДЕКИНА. Кропаль. <i>Роман</i> .....	7
Любовь КОЛЕСНИК. Человек человеку труд. <i>Стихи</i> .....	57
Ярослав КАТАЕВ. Рассказы .....	61
Александр КАН. Костюмер. <i>Рассказ</i> .....	90
О.КАМОВ. Песнь о Соколе. <i>Рассказ</i> .....	109
Айгюн МАМЕДОВА. Старик решил умереть. <i>Рассказ</i> .....	115
Анна ГЕДЫМИН. О драгоценных и не очень. <i>Стихи</i> .....	121
Пётр КАРЦЕВ. Грешенка. <i>Рассказ</i> .....	124
Сергей МАРКЕЛОВ. Воронка. <i>Рассказ</i> .....	152
Даур НАЧКЕБИА. Рассказы. С абхазского. <i>Перевод автора</i> .....	159
Андрей ВЕРЕЩАГИН. Два рассказа .....	167
Даша БЛАГОВА. Расскажите мне о змеях. <i>Рассказ</i> .....	174
Лада СЁМИНА. 29.4. <i>Рассказ</i> .....	180
Айгерим ТАЖИ. Синий виноград. <i>Стихи</i> .....	187

### ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Лёнька СГИНЬ. Сдвиг. <i>Рассказ</i> .....	190
---	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КАГРАМАНОВ. Время (и бремя) чёрных?	
О новом витке расового вопроса .....	201

### КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Олеся НИКОЛАЕВА. «Россия, Лета, Лорелея». <i>Два портрета из будущей книги</i> ...	210
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Не премиальте .....	241
--	-----

### ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Андрей ПЕРМЯКОВ. Постапокалипсис без апокалипсиса (Ю.Гуголев. «Волынщик над Арлингтоном», 2019–2020) .....	244
---	-----

### КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Без анестезии (В.Ремизов. «Вечная мерзлота») .....	251
Дмитрий АРТИС. Жизнь на обратную сторону (И.Купреянов. «Стихотворения 2010-х»)	254
Дмитрий СТАХОВ. Мемуары романиста (П.Алешковский. «Секретики») .....	256
Геннадий КАЦОВ. «Менестреляный воробей...» (А.Габриэль. «Чёт и вычет») ...	259
Александр ЕВСЮКОВ. Билингва любви и отчаяния (С.Овакимян. «Созвездие эмигранта») .....	262

### ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Куклы Резо, или Проблема снятия .....	265
---	-----

### КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Язгуль ТИРКИШОВА. Мир, в который хочется войти.....	269
---	-----

НАША ВКЛЕЙКА. Художник Чары Хуммедов .....	после стр. 240
--	----------------

© «Дружба народов», 2021

*Вячеслав Шаповалов*

## Покровитель стад

### *Хвостохранилище*

Задохнувшееся от натуги, в пересортице душ и тел,  
в вековом затаись испуге,  
вот людское гнездо на юге, куда божий гнев долетел.  
Из когда-то бронзовой лейки, бормоча «Иль алла вай дод!»,  
на руки старушке-калеке  
льёт водицу на диком берегу древний скрюченный садовод.

Пальцы горького винограда, молчаливая мощь лозы.  
Долетают напевы ада  
до газонов райского сада, до высот безмолвной грозы.  
Где мертвые живая ограда, где в тревожной дрёме жилищ  
вянет утренняя отрада —  
тиши отложенного джихада ты, прислушавшись, ощутиши.

Мчатся юные на мопедах из советских гаражных нор,  
в помыслах об отцах и дедах  
гаджетов поутру отведав, обналичивая приговор.  
Им небесные шепчут скрипки, обещая власть и любовь,  
невесомы, светлы и зыбки,  
расцветают для них в улыбке лица стронциевых грибов.

Хмуро дремлет в распадках светлых дух урановых родников,  
оборотень мутаций и ветров,  
царь невысказанных ответов, истлеваящий рудокоп.  
Обессиленные каменя, смертный профиль гранитных крыл,  
бессловесные сочиненья,  
уязвлённые сочлененья, апокалипсис медных жил.

---

Шаповалов Вячеслав Иванович — Народный поэт Киргизии, переводчик тюркской и европейской поэзии, заслуженный деятель культуры КР, доктор филологических наук, профессор. Автор 15 книг стихов, в том числе «Безымянное имя. Избранное XXI. Книга стихотворений» (М., 2021). Лауреат Государственной премии КР, Русской премии, премии РусПЕНа и др. Родился и живет в Бишкеке.

Оглянись на восход: полмира замерзающего тепла —  
там целует тебя лавина,  
там багровый огонь Памира, голубая Тянь-Шаня мгла.  
И молчат на ветру одни лишь, надрываясь, — пришла пора! —  
терриконы хвостохранилищ.  
Этой тягости не осилишь. Звёзд неведомая игра.

И когда умолкнут навеки телевизоры и города,  
и тогда возвратится в реки  
истекающая из Мекки зачарованная вода —  
осыпаясь, вздохнут ущелья, мир откликнется, одинок.  
Нам,зывающим о прощенье,  
что он скажет, в тиши пещерной осыпающейся песок?..

### *Покровитель стад*

Вот селение посреди небес  
в хоре тёмных звёзд и слепых чудес —  
мир теряет слух, одинок простор,  
термоядерный в небесах костёр,  
а вокруг стада и морская гладь,  
и века вокруг, ни вперёд, ни вспять:  
мир Чолпон-Ата — не на русский лад  
имя дал земле Покровитель Стад,  
всех копытных бог, родников знаток.  
Детский оберег, голубой платок —  
между серых юрт притаилась быль,  
плачут в сумерках молодой ковыль,  
гроздья белых бус полетели вниз —  
града летний груз, молодой кумыс,  
не сосчитан год, неба синий свод,  
моря синий свет, гул пчелиных сот,  
шквал небесных вод, лодок белый ход,  
гром подземных од, мгла земных широт! —  
на земле нигде, ни в каких местах  
так не таял ласково на устах  
твой полынный сок, твой цветок-дурман,  
светлый горький мёд, стронций да уран,  
в тишине ночной под чужой луной  
сладкий волчий вой, тёплый шёпот твой,  
твой, терской-трава, южных гор молва:  
языков исчезнувшие слова  
отзовутся молча — там, на скаку,  
мой дрожащий голос допел строку.

*Кочевой римейк*

...Задыхаясь, спешишь у тяжёлых славянских корней,  
дочь Песчаного Жуза, и губы исполнены дрожи.  
В можжевеловой мгле твоих ласковых жёстких кудрей  
был я скифом и гунном, все прочие прибыли позже.  
В можжевеловом пламени чёрных смертельных зрачков,  
чья ликующе-лютая гаснет в истоме зарница,  
на пожарище этносов, эпосов и языков  
я ласкаю твой кесарев шрам в рамке постмодернизма.  
Только — ты, только сладостной воли смертельный мотив,  
вскрик победы, как звёзды, пролившийся в звонкое тело! —  
юрты возле реки отвернулись, глаза опустив,  
и смятенье сердец лишь река в тишине разглядела.  
Глухо фыркает конь, сталь звенит и волхвует луна,  
пахнет ветер костром и узорчатой пряной кошмою,  
мы истерзаны будущим, в такт нам прогнулись луга  
над озёрною тьмой с переливами волчьего воя.  
Над прочитанной руной забывчивый книжник угрюм:  
не Аллаха, не Будду — я плоть твою терпкую славил  
и умолк. Стиснув зубы, допел мою песню уйгур,  
и кипчак подхватил, и казах моих слов не исправил.  
По Дороге Соломщика в мир, в золотые края  
стон летит, сохнут слёзы, небесное облако реет,  
и весь мир этот — ты, не дочитана книга твоя,  
но угасшие руны перо оживить не посмеет! —  
в зачарованной мгле загорается храм словаря,  
оскорблённые пламенем, гибнут склоненья, спряженья,  
табунов половодье и первого мира заря,  
а потом — пепелище, утрата, мираж, отраженье.  
Все слова — от Адама пришли, и кустарник пылал,  
и над девством Лилит смысл утратило слово в заклятье,  
то, что спел на рассвете, кого я в огне увидал —  
позабуду легко — сожаленье вины не загладит.  
Кочевая тропа, путь по звёздам — всё это в былом,  
ну и пусть, я иного не ведаю и не желаю:  
сколько мифов успело истлеть у судьбы под крылом —  
но под смертной косой я лишь имя твоё вспоминаю.

*На развалинах храма Артемиды*

Синие волны Смирны ложатся на берег,  
серою солью наславаясь на плитах,  
нечувствительных к зною, заметному для обеих  
половинок вселенной, в сером камне отлитых  
исключительно для ощущенья, что это  
делалось исключительно для ощущенья:  
две ладони, две сердцевины света,  
к коим мы не имеем видимого отношения.

Смуглое слово «Смирна» растворилось в сонорном  
звуке Измир — и вышло из моря,  
одетое пеной. В дури сановной  
нет смысла искать сыновнего взора.

Смуглое солнце Смирны ложится на плечи,  
перспектива камня дышит древней смертью,  
смертная Смирна бессмертной волною плещет,  
мёртвую страсть сменяет живое усердье.

Смирненские турчанки взором цвета инжира  
отворяют ворота слову, которого, знаем,  
нет в словарях: Измир... Ушедший из мира  
вспомнит ли дорогу, беспамятством обуреваем?  
Вспомнят ли дорогу чёрные генуэзцы,  
серые крестоносцы, алые византийцы? —

на каменном амфитеатре надеяться неуместно,  
что что-то из прежней бездны вернётся и возродится.  
Что перед мёртвой вечностью наши упованья,  
споры бранчливых греков и чванливых турок! —

пускай уж себе Афродита из моря идёт, напевая,  
пускай это пенье слушает глухой европейский придурак.  
Всю ночь под сонными веками что-то билось, мерцало,  
чем трусливой зажмуриваешься — тем ярче виденье:  
море смотрится в неба честное зерцало,  
сердце сражается с вечности мёртвой тенью.  
О чём ты, жизнь, спросила, чего искала? —  
ты знала ведь, знала: в ответ не услышишь ни звука!

Небо смотрится в моря честное зерцало —  
и видит саблезубое лицо сельджука.

*Женя Декина*

# Кропаль

*Роман*

Над долиной летел крупный орел. Его силуэт пропадал, сливаясь с горами, и внезапно появлялся снова, выделяясь на фоне прозрачного неба.

Солнце уже поднялось, горы сбросили с себя утреннюю полутень, и раскаленный воздух застыл. Сугар молча взглядалась в нависшую над ней стену скалы, и расселины, избороздившие поверхность, сами собой складывались в ухмыляющийся профиль Эрлика. Сугар старалась его не видеть, различить в глазнице дерево или камень, чтобы смотреть на них, и профиль рассеялся, но злобный Эрлик появлялся снова. И только орел на мгновение отвлекал от этой пугающей улыбки.

В голове сама собой зазвучала старинная песня. Про то, как в давние времена, когда горы эти были еще маленькими камушками, а река — влажным отпечатком копыта степной лошади, пробрался Эрлик в пещеру и осквернил сотворенного Кудаем человека, измазал его и наплевал. И у человека от этого по телу пошла шерсть, как у зверя, и пот стал вонючим. Кудаю пришлось брить и чистить человека, но совсем отмыть его он не смог. И так рассердился Кудай на Эрлика, что изгнал его. Эрлик летал по свету вместе с орлами и нигде не мог приземлиться. И устал он, и выпросил у Ульгена столько земли, чтобы можно было воткнуть в нее свой посох и усесться на нем, обратившись орлом. И пожалел Ульгенъ Эрлика, не знавшего отдыха сто дней и сто ночей, и дал земли ему, но Эрлик проткнул посохом землю, и вылезли из нее все гады и болезни человеческие. И Олгой-Хорхой.

Старухи говорят, что праотец-лысое-небо давно оставил проклятую долину, и дары Тэнгиза принимает теперь злобный Эрлик. Он изгнал из долины духов отцов и привел за собой Олгой-Хорхоя. Все знают это. Только Тэнгиз продолжает чтить предков своих и носит им подарки. Он говорит, что, если бы все делали как он, праотцы вернулись бы в долину, но ему уже никто не верит. Даже старый кам ушел, когда праотцы в третий раз отказали ему в дожде.

Орел появился снова, и Сугар подумала, что если бы у людей были крылья, то муж ее, Эрдем, большой и сильный, перелетел бы пустыню за один день. И огромный безголовый червь Олгой-Хорхой, похожий на толстую кишку коровы, не проглотил бы его, как он проглотил ее отца, и мать ее, и братьев.

---

Декина Евгения Викторовна родилась в 1984 году в Прокопьевске Кемеровской области. окончила Томский государственный университет по специальности «Современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звездный билет» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 2.

Орел исчез, и горы, темно-зеленые и безнадежно спокойные, снова нависли как тень. От этого небо над ними показалось страшно глубоким и пустым.

Сугар выбросила измочаленный конопляный побег, утерла лоб рукавом рубахи и сорвала новый. Эту нательную рубаху она берегла и надела только теперь, когда старая рубаха проплыла на груди до бесстыжих дыр. Эту рубаху отдала она мужу в их последнюю встречу и наказала, что, если не сможет он вернуться к ней, пусть подарит рубаху новой жене своей, и та пусть носит под нею его новых детей. Сугар говорила тогда, но думала, что если бы и вправду нашел Эрдем себе новую жену, то Сугар удушла бы его этой рубахой. Эрдем тоже знал это и улыбался, слушая слова старинного прощания. А потом Олгой-Хорхой сожрал его, большого и сильного.

Рубаху привез ей Тэнгиз. Вместе с ножом для убоя скота. По традиции он должен был перейти от Эрдема к Мунху, но Сугар продала его, чтобы купить детям еды.

Рядом промелькнула бритая голова Мунха. Сын бегал перед ней в высокой траве, полностью скрывавшей его. И Сугар на мгновение показалось, что он, обнаженный и загорелый дочерна, сейчас разгонится и тоже взмоет вверх, в это бескрайнее и пустое небо.

Заметив, что она смотрит, Мунх вернулся к матери. На губах его, спекшихся и растрескавшихся, выступила белесая пена. Весь он был покрыт бурой конопляной пыльцой и оттого казался загорелым. Он попытался устоять, уперев руки в дрожащие колени, но не смог и тяжело опустился на траву. Сугар присела рядом и принялась торопливо растирать его. Одной рукой она скатывала пыльцу, а второй — собирала катышки на широкий лист. Мунх лежал на земле и все так же часто дышал, не глядя на мать и не мигая. Морщился, когда она слишком сильно давила на его подрагивающее тело.

Сугар скатала похожие на пластилин катышки в маленький круглый комок и вздохнула. Мунх услышал ее печальный вздох и приподнялся. Она омыла его тело водой из старой мяты пластиковой бутылки, помогла ему встать и повела прочь от поля.

Дома мальчику стало хуже. Его била мелкая дрожь, и ему казалось, будто сквозь него проходит ветер, оттого тело колышется, как истертая, наброшенная на кол во дворе тряпка, которая раньше была маминой рубахой. У мамы было очень длинное лицо, растекшееся до самого пояса. Мама подошла и завернула Мунха в колючий куст. Он знал, что это не куст, а покрывало — оно знакомо пахло кислым молоком, но видел он все равно куст. Около куста бегало какое-то маленькое животное — суслик или брат. Оно влезло на топчан и заволокло на мальчика вытертый отцовский тулуп. Тулуп прибил куст к земле, как снежная шапка придавливает траву и деревья, и ветер больше не мог проходить через тряпку. Ветки куста сильно помялись и щекотались внутри. Они хотели прорости сквозь тулуп, но не могли, потому что до весны было еще далеко, и это был уже не тулуп, а земля, стоптанный, как коровья тропа.

Подошла мама. Теперь у нее было уже нормальное, короткое лицо. Только немного грустное. Она поправила землю и потрепала брата по голове, тот улыбнулся и сполз с топчана.

Брат прошлепал к столу. Мунх тоже хотел пойти и поесть, но не мог, потому что кусты не ходят. Он лежал и слушал, как мама сняла с печи чугунный казанок и поставила прямо на стол. В комнате запахло жженым деревом и похлебкой.

Из-под стола вылезла маленькая сестренка. Мунх видел, как она замешкалась перед лавкой, пытаясь влезть то с правой, то с левой ноги, потом все же отложила соломенную куколку, которую держала в руках, и вскарабкалась. Потянулась к казанку. Мама прикрикнула на нее и принялась разливать еду в глиняные пиалы. Куски вареных корней шлепались в бульон — похлебка оказалась густой. Потом потемнело. Большое и теплое нависло над ним.

Мальчик подумал, что сейчас мама выльет пиалу ему на голову, потому что он куст, и тогда он уменьшится и станет плавать в похлебке, но она просто напоила его. От стука зубов о глину по телу пошли мураски, горячее протекло в него и наполнило. Теперь Мунх дышал ровно и видел все правильно.

Он, кажется, заснул и проснулся оттого, что дверь резко распахнулась. Сестренка заплакала от неожиданности, а брат вскочил, и черепки, с которыми он играл, просыпались на пол.

На пороге стоял Тэнгиз. У него опять был другой костюм, теперь красный, но тоже «Адиdas», и с лампасами. Это было красиво, но еще красивее переливалась толстая золотая цепь у него на шее. Сам Тэнгиз был страшный, но на него все равно никто не смотрел, все любовались костюмом и цепью.

Сугар торопливо поднялась и вытащила из-за притолоки тряпицу, в которую были завернуты собранные катышки. Тэнгиз сунул ей в руки толстые каменные четки — подержать, смял катышки вместе. Получился комок размером с яйцо маленькой птички.

Тэнгиз забрал у женщины четки.

— Что ты мне даешь? Это мало.

Сугар умоляла подождать, но уже заранее знала, что не уговорить. И правда, Тэнгиз только разозлился.

— Я килограмм должен отправить, у Каиржана недобор, где я теперь возьму?  
Кобылу забираю.

— Нет-нет, Тэнгиз, без кобылы никак, дети у меня, Тэнгиз...

Сугар схватила его за руку, он отпихнул ее:

— Столько же до темноты Рустэму принесешь.

— Олгой-Хорхой, — простонала мать, но он уже вышел, громко хлопнув дверью.

Сугар вздохнула и села на лавку. Подумала и решительно поднялась:

— Пошли, — сказала она младшему.

Тот обрадовался и бросился к ней. Мунх резко сел, голова все еще кружилась, и он чуть не рухнул с топчана:

— Я пойду.

Сугар отмахнулась. Мунх спустился и оттолкнул от нее брата:

— Не смей его, я пойду.

Мунх, с трудом передвигая ногами, бегал по полю, потряхивая опущенной головой, как умаянный конь. Сугар поглядывала на него, всхлипывала, с остервенением терла меж ладоней верхушки конопляных побегов, собирая на лист катышки гашиша. Она слепила из них шарик. Не больше горчичного семечка. Она принялась тереть снова. Слева послышался шум. Она обернулась и увидела младшего, который тоже, раздевшись догола, бегал по полю. Она ахнула. Младший подбежал к ней, довольно улыбаясь:

— Я тоже помогаю! Я молодец?

Сугар схватила его за руку, развернула и звонко шлепнула по голой заднице:

— Ах ты! Ну-ка домой! Быстро!

Мальчик бросился прочь, на ходу подхватив одежду.

Сугар осмотрелась. Конопля стояла перед ней неподвижной стеной. Она заметалась и стала звать сына, но ответа не было. Она бросилась в заросли.

Мунх лежал на спине, держась обеими руками за грудь. Глаза его были широко открыты, язык опух и вывалился. Она упала на колени, потрясла его за плечи, но Мунх не двигался. Сугар приложила ухо к груди, чтобы услышать сердце, но уже не поднялась — было тихо.

Безголовый червь Олгой-Хорхой проглотил и Мунха.

Любовь Колесник

## Человек человеку труд

\* \* \*

Прямо пойдёшь — болото.  
Налево пойдёшь — болото.  
Ещё одно поднимается изнутри.  
Красивая птица из своего киота:  
*туруру тирири.*

Невыразимое пропадает слово  
в складках коры.  
Мир надламывается,  
лопается, как слива,  
проваливается в тартарары.

Остаётся ёлки скорченная конечность,  
зелёная поросль из печени пня.  
Позади Москва.  
Впереди вечность.  
Посередине — я.

\* \* \*

Вьётся птица страдивари  
над моей головой.  
Я стою перед словами,  
словно лист перед травой.  
Лес с лицом старообрядца,  
поле с дряблым животом —  
не звучат, не говорятся,  
чуть побудут, а потом  
начинают растворяться  
даром паром  
надо ртом.

---

Колесник Любовь Валерьевна — поэт. Родилась в 1977 году в Москве. Автор шести книг стихов, среди них «Мир Труд Май» (М., 2018), «Музыка и мазут» (СПб., 2000). Победитель Международного Волошинского конкурса (2019). Живет во Ржеве и Москве.

\* \* \*

Сциллы и другие первоцветы  
молча вылезают из земли.  
Сциллы, под землёю есть поэты?  
Говорят — искали, не нашли.

Кровь и почва есть, нашлись и корни,  
мокнет глина, спит вороний глаз,  
молча на берёзовой иконе  
короед скоблит сырой левкас.

Не хочу, не надо, не такую!  
Тише, Сциллы! Смолкни, небыль вся!  
Посмотрите, как они ликуют,  
чикают, курлыкают, токуют,  
под суровым облаком вися.

\* \* \*

Над совиным лесопарком  
птица, быстрая помарка.  
В сером воздухе весна  
из-под горя не видна.

Горе, скройся! Птица, взвейся!  
Человек под ней, рассмейся!

Смотришь в небо — нет, едва ли.  
Небо мелют жернова.

Песня, нитка-прилипала,  
липнет к краю рукава:  
День прошёл, а я отстала,  
день прошёл, а я жива.

\* \* \*

Тропа зарастает лесом, как след пореза.  
Если цокнуть над полем, в земле зазвенит железо.  
Дробный бег кабанов, заполошный пролёт тетёрок.  
На болотах багульник вырастает из гимнастёрок.

Здесь была деревня, а нынче растут деревья,  
здесь была война, а нынче вода темна —  
вот и вся недолга, проста и крива, как стремя,  
вечная весна.

Надо мной пустота, начинаясь с затакта —  
ни кола ни двора, ни трактора и ни танка.  
Под моими ногами, где пахота не достала —  
погнутая звезда из памяти и металла.  
Жестяное небо летит и горит дотла.  
Как мне сказать, чтоб музыка, музыка здесь была?

\* \* \*

Я рубец обороны Москвы.  
Я рыбак, ожидающий реку, —  
вот она покидает болото,  
измощдённое русло.

Покачнётся и грянет по медным, железным порогам,  
костяным ступеням —  
вприпрыжку, не наступая.  
В изголовье лес раскачивает стропила,  
снег перебирая, ветер летит стопалый.

Скрытая вода напитана родниками,  
наполнена моими родными —  
страшная на вкус, мягкая на ощупь.  
В ней ольха и ель согревают корни,  
буровой кожурой обрастают камень.

На камне птичка — смотрит черничным глазом:  
— Человек-человек, ты зачем здесь?  
— Жду, когда смерти не станет.  
Жду, когда будет счастье.  
За каким рубежом?

— Жди-жди, — говорит птичка.  
— Динь-динь, — говорит речка.  
Я молчу.

\* \* \*

осколок берёзы в пашне торчит  
или аист ходит  
белый люпин цветёт или свет меня сверху видит  
я как будто иду полем  
но вроде  
и расти там среди волчьей ягоды волчьей сыти

волчьей сути во мне осталось на дне  
на небе  
яблоко распадается двигаясь по наклонной  
я человек глиняный  
столп с немотой на нёбе  
за моей спиной  
деревья идут колонной

я человек вечный  
я человек привычный  
я человек не знающий что желаю  
кто там вдали неразличимый и безразличный  
белый обломок дерева  
птица сторожевая

\* \* \*

Ни бензина, ни завтра, ни слёз,  
лишь дороги надтреснутый суржик.  
За окном постоянный покос,  
поселянка ругается с мужем.

Это жизнь и её полчаса.  
Здесь грубы пацанов голоса,  
словно травы к исходу июля.  
Мчится овода серая пуля.

Я убит, я лежу на спине  
и курю в безвозвратное небо.  
Я не по, я не до, я не еду —  
едет страшное что-то во мне.

Недогород с дорогой вокруг  
рассыпается глиной из рук,  
распадается вместе со мною  
на зевоту, икоту, испуг.  
Я убит, я лежу и не ною.

Пар идёт из асфальтных пещер.  
На ребре застывает монета.  
Ни покоя, ни сна, ни инета,  
ни меня, ничего вообще.

\* \* \*

Я забыл, как меня зовут, —  
дай мне имя своё, любое.  
Человек человеку труд.  
Скошена половина поля,  
на другой половине  
бродят судьба и птица,  
печенеги и половцы пишут передовицы.

Только плечи расправиши, и  
сразу тянет чесать за ухом.  
Птица спрашивает — вы чьи?  
Мы цыганочка с чибатухой.  
В небе дырки от пуль,  
в кармане тугая дуля.  
Кто идёт? На словах — берёзка, а с виду тuya.

Половина поля в огне,  
половина в озеленении.  
Половина дела во мне,  
половина в остервенении.

Я вперёд шагаю берегом топким манным:  
хорошо безымянным,  
радостно безымянным.

*Ярослав Катаев*

## Рассказы

### *Каблуки*

*Все совпадения вымышлены. Герои случайны.*

Потом она сказала, и зачем ты взял Кортасара. У него всегда то смерть, то боль. В каждом рассказе, в каждом. Неужели нельзя по-другому, неужели обязательно нужно, чтобы боль? Я посмотрел на обложку и пожал плечами. Регистрация на самолет заканчивалась — и я взял с полки первую попавшуюся книгу.

Потом выяснилось, что рейс на Париж задержали, и теперь мы сидели в стеклянной кабинке и курили. Я летел в Париж, а она — не знаю куда. Она затягивалась, делала глубокий вдох, на секунду задерживала дыхание и порывисто выдыхала. Нет, не выдыхала, она выплевывала. Да, она выплевывала этот дым. Дыма было так много, что я едва видел ее лицо. А почему ты опять стала курить? Я ведь помню, ты бросила. Она не ответила. Только глубоко затянулась, опять задержала дыхание и опять выплюнула. Нет, ну правда, неужели нельзя без боли? А почему ты летишь без мужа? Без мужа? Она опять затянулась, покрутила головой, выплюнула дым...

И неужели нельзя было сделать нормальные комнаты для курения? Это же не комнаты. Это какие-то... шкафы... гробы... как тут сидеть? Да, сказал я. Но раньше и таких не было. Раньше и таких не было, повторила она. И снова затянулась.

Потом мы сидели. Говорили. Она закурила вторую. Потом еще одну. Глаза уже начинали слезиться, и хотелось выйти из этой комнаты, и я ждал, когда, наконец, объявит посадку. Или когда сюда придут люди. Кабинка маленькая, и даже для четверых будет тесно. И мы уйдем. Но, как назло, никто не приходил. И мы сидели вдвоем. Я вслушивался в монотонный, в этот безразличный автоматический женский голос, объяявший посадки. Но моего рейса все не было и не было.

И я сидел в этой кабине и уже давно не курил.

А она все говорила, говорила. Куда она летела? И почему одна? Она говорила про Кортасара, потом про роды. Да, почему-то про роды. Про детей, про мужей. Я перебирал страницы Кортасара, лежавшего у меня на коленях. И жалел, что вообще

---

*Ярослав Катаев* — сценарист. Родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Выпускник СПбГУ. Ныне — директор по стратегическим коммуникациям Креативного агентства ТомсОйер, консультант по продвижению брендов, основатель проекта «Философский сторителлинг» (совместно с А.К.Секацким). Живет в Санкт-Петербурге. Первая публикация автора.

купил его. В этой журнальной лавке книг было мало, и я взял первую попавшуюся. Я понятия не имел и не знал ничего про боль. А она все говорила и говорила.

Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Дым забирался в глаза, и я шурил веки.

Так почему ты летишь без мужа? Он ушел. Ушел? Ушел. Почему? Вы же столько лет вместе. Из-за поста. Из-за чего? Из-за поста. Какого поста? В фэйсбуке. Я написала пост в фэйсбуке. Как можно уйти из-за поста в фэйсбуке? Оказывается, можно. О чем был пост? О родах. О родах? Да, о родах. Муж ушел из-за того, что ты написала про роды? Да.

\* \* \*

В Париже я поселился недалеко от Люксембургского сада. Днем гулял по набережной Сены. Останавливался у странных дорожных указателей, на молочном фоне которых было написано то «Сталинград», то «Аusterлиц». Вечером взял речную прогулку на теплоходе. Третий день подряд по городу метался ветер, вода поднялась и Сена разбухла, как вздувшаяся вена. Я сидел за столиком, столик качался, я пил белое вино и смотрел через чистое ясное стекло за борт. На острове молодого повесы, под Нотр-Дам, студенты сбились в кучку и грели руки над костром. А когда мы проплывали мимо, они выстроились в ряд, повернулись к нам спиной, стянули штаны и показали нам свои голые задницы. До этого я заприметил среди них одну красивую брюнетку в красной куртке-мотороллете и теперь искал среди голых задниц — ее. Наверное, левая молодежь так выражает протест против буржуа, прогуливающихся на белых теплоходах.

Что бы сказала моя жена, увидев обнаженные задницы студентов? Наверное, она расхохоталась бы. Вот уж чем ее не удивишь, так это голыми женскими задницами. В ее мире fashion задница — что лицо. Модели то одеваются, то раздеваются, меняя ее наряды. А она стоит с ними в одной гримерке. Наверно, она уже давно перестала замечать наготу. Единственное, что для нее важно, это как сидят ее платья на этих тела, которые будут выводить платья на подиум. Да, она расхохоталась бы. А, если бы я стал ей возражать, она бы сказала: лицо, зад — какая разница? И там, и там — плоть, обтянутая кожей. Все остальное — миф. Что лицо, что жопа... Может, она права.

Пожилая немка за соседним столиком брезгливо отвернулась от окна. То же сделал ее муж и стал искать глазами официанта. А я смотрел на ту девушку в красной мотоциклетке. Студенты уже натянули штаны и теперь показывали нам средний палец. Она показывала мне средний палец и корчила рожицу, морща белый носик и высывая языком.

В кармане лежал Кортасар. Я заказал еще вина и рассеянно листал страницы. Кортасар. Рассказы... рассказы, рассказы, рассказы... и вот, между страниц, какая-то вкладка. Белые листы бумаги, белые чистые листы, сложенные вчетверо. Я разворачиваю... а там, внутри, чернила, кляксы, черные буквы, что-то зачеркнуто, что-то перечеркнуто, что-то вырезано. Черно-белая рамка фэйсбука, и внутри рамки — текст. Много текста. С заголовком: «Родильное отделение». Это ее. Это и есть ее пост... она зачем-то распечатала его из фэйсбука и вложила мне в книгу... Зачем? когда успела? В тот момент, когда взяла «полистать» на минуту? Там, в курилке, в которой дым и ничего не видно?

Я предлагал ей поехать в Париж. Я знал, что меня ждет несколько дней одиночества. Жена будет готовиться к показу. Точнее, к парижскому показу. А я буду

бродить один по городу. И зачем я вообще ей там нужен? Но нет. Я должен приехать. Я должен приехать, и все тут, говорила она в трубку. Может, все-таки передумаешь, и — в Париж? Жена будет готовиться к показу, ей все равно не до меня. Будем гулять. А знаешь, как хорошо курится в Люксембургском саду или на острове молодого повесы? Будем гулять, курить, и ты мне все расскажешь. Хочешь? Еще не поздно поменять билет — перебил я ее. Поздно, конечно, поздно. Ты разве сам не понимаешь? Мы ведь уже на нейтральной полосе. Мы уже пересекли границу... Когда, наконец, объявили мой рейс, глаза щипало от въедавшегося дыма. И пока я шел на посадку, я без конца мигал. И мир то гас, то вспыхивал вновь.

Теперь я читал, а теплоход плыл. Я читал, а теплоход плыл. Я не заметил, как мы оказались у причала. Мальчик-юнга бросил веревку-косичку другому, стоявшему на берегу. Тоже темнокожему, в джинсах и шлепках, без майки. Тот обернулся веревку вокруг черной железной катушки, юнга с нашего борта потянул веревку на себя, и мы прижались бортом к резиновым покрышкам, закрепленным на причальной стенке.

\* \* \*

Ближе к полуночи я стоял где-то в центре красивой толпы. Подошел официант. Месье, сказал он, посмотрел на меня, потом на свой поднос. На подносе лежал хамон, свернутый трубочкой, проколотый зубочисткой с насаженной ягодой винограда. На другом краю подноса стояли бокалы с коньяком. Я потянулся, взял два и выпил. Они смотрели на меня, как на дикаря. Они все были в цветистых штанах, в пестрых пиджаках, в разноцветных очках... мужчины, женщины, молодые, немолодые... они были разноцветные, как набор акварелей, накидки плыли за телами, как павлины хвосты. В джинсах, белых кедах, я был словно личинка среди бабочек. Подошла жена. Я же тебя просила, оденься как следует... я же оставила тебе набор... неужели так сложно хотя бы один день, хоть на один день... нет же, у меня показ в Париже, Париже! А ты приходишь, как... как... Как кто? Ну скажи, скажи, как кто? Она помолчала секунду... Как эти... эти... Какие?.. Которые на улице... сказала она, наконец, потом отвернулась и ушла куда-то за кулисы...

Я остался один, в центре этой разноцветной толпы... модели выходили на подиум, разворачивались, уходили обратно... не уходили... упливали... как жар-птицы... расплывались, как узоры на голубиной шее, как пролитый в лужах бензин... я искал официанта... мне нужен был коньяк... любой коньяк... здесь не было любого коньяка... здесь был только один коньяк... контролируемый по происхождению. Из региона Коньяк... Я пил коньяк, единственный доступный коньяк... а жена шла по подиуму, вела за ладони двух жар-птиц. Она шла по подиуму в светлом разноцветном платье, в белых туфлях на высоком каблуке. Я знал, что ей больно ходить на каблуках, но как бы ни было больно, она надевала их. И все хлопали. Ладоши бились друг о друга, как крылья бабочек. А потом жена потерялась в этом пестром ван-гоговском мире, где краски хлещут, как кровь из вскрытых вен...

И вообще, Кортасар — мужчина. Но что вы, мужчины, можете знать о боли? — спросила она, выплевывая дым. Я недавно проснулась. Ночь. Горит торшер. А он сидит на краю кровати, весь бледный, знаешь... как этот дым. Я спрашиваю, что с тобой? А он сидит, держится за живот, знаешь, в белой майке, руки на животе, вот так, скрестил, пальцы в пальцы, и раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Живот болит, говорит. Я говорю, может, «скорую»?.. а он лицо так скривил, я посижу пока, просто

---

*Александр Кан*

# Костюмер

*Рассказ*

## 1

Трудно было понять, почему отец вдруг начинал изображать из себя поезд, точнее, становился поездом по несколько раз на день, когда отрывался от нее, — выходил из комнаты и двигался по коридору, — мелкими шажками, издавал протяжные гудки, должно быть, отправления, расталкивал локтями пространство, в конце коридора разворачивался и двигался обратно, без остановки, строго по определенному маршруту, — быть может, иначе и быть не могло, мучительно размышлял Кан, раз всю свою жизнь стариk провел в поездах, в поисках неверной жены, его матери; кто-то когда-нибудь становится чем-то, тогда — по странной логике вещей — Кан когда-нибудь должен будет стать одеждой, раз работает он костюмером в театре, чьей-то одеждой — чьей? — никто, да и сам костюмер, не смог бы на это ответить. Но перед тем, как стать поездом, отец был просто-напросто... рогоносцем, да-да, так писалось в этих проклятых телеграммах: э-э-й, рогоносец! мы здесь с твоей верной, — там-то и там-то, — шлет тебе пламенный поцелуй... — отец свирепел, рвал в клочья эти листочки, бежал кшкафу, выбрасывал из него ее одежду, разрывал и разбрасывал по комнатам, на следующий день собирался в дорогу по указанному в телеграмме адресу.

На самом деле никто и не знал, сколько их было, ее любовников, — целая армия или один, безумный, безумно посылавший свои безумные телеграммы. Быть может, и не было на самом деле таких адресов, а отец, возвращаясь, ничего не говорил, только опускался от усталости на колени, и Кан мог подойти к нему, обнять, прижать к себе так, что казалось, они вместе, по-настоящему вместе, что он, его сын, обнял его собой, не оставив ни зазора, ни трещинки между их телами, хотя, вероятно, должно было быть наоборот, — он на коленях, а отец одевает его собой. Но перед его так и не наступил, ибо когда отец все-таки привел ее в дом, эту седую мумию, точнее, приволок, сама двигаться она уже не могла, о Господи! — только и вырвалось из груди костюмера, — папа, это она? — когда он приволок ее в дом, то тут же вцепился в нее, переполняемый то ли счастьем, то ли безумием, обнял ее и больше, кажется, объятий своих не раскрывал.

---

*Александр Кан* родился в 1960 году в Пхеньяне (КНДР). Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алма-Ате, Московский институт электронной техники и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих книг прозы, в числе которых «Век Семьи», «Сны нерождённых», «Невидимый Остров», «Книга Белого Дня», «Родина» и др. Победитель международных литературных конкурсов в Москве, Берлине, Сеуле, Анн-Арборе, Беркли. Живет в Алматы (Казахстан).

Отец тут же забыл обо всем: о сыне, об их ожидании, о телеграммах, преследовавших на протяжении многих лет; ему же, Кану, только и оставалось, что подглядывать за стариками в щелочку, — странно, они не раз говорили друг с другом, впрочем, о чем им было говорить? — головы их неколебимо покоились друг у друга на плечах. Более того, они даже не глядели друг другу в глаза, словно боялись какой-то страшной одной им известной тайны, которая могла вспыхнуть под их взглядами, — выжечь их глаза безудержным и яростным огнем. Потом — этот поезд, старики-поезд, понятно, старику нужно было куда-то выходить, не все же время сидеть в своей комнате, но лучше рядом, недалеко от комнаты, чтобы не дай Бог она куда не сбежала, хотя куда она могла сбежать? Кан частенько поджидал его в сумерках, прижимаясь к стене: отец, ты... — обращался он к нему, — отец, ты уверен... ту-ту! — сигналил ему отец, — то ли ему, то ли кому-то невидимому в сумерках, — отец, ты уверен, что это она? — шептал в темноте Кан и пугался своего вопроса, — тух-тух-тух, — бубнил отец, проезжая мимо: случайных остановок на его пути не предвиделось.

А потом посреди воцарившегося было в их доме покоя раздался стук в дверь: тук-тук-тук, Кан не успел подойти, — о, почему он не успел подойти?! — отец стоял уже двери и сжимал трясущимися руками какую-то бумажку. Казалось, он не сжимал ее, а откидывал, отбрасывал, а она, эта бумажка, никак не отлеплялась от его рук. Что это? — подошел к нему вплотную костюмер, дай-ка сюда, — отец, казалось, с радостью, перебросил в чужие руки, — получилось... — Кан развернул и согнулся от неожиданной тяжести. Папа, это недоразумение, — только и смог прошептать он, это не нам, это кому-то другому, по другому адресу, это, быть может, не вовремя, точнее, здесь что-то со временем, если уж не с адресом, то со временем, это из-за почты, там всю жизнь все путают, могут, к примеру, прошлогоднее отправить сегодня, а то, что будет через несколько лет, отправить вчера, я обязательно разберусь с ними, форменное безобразие, вообще в каком времени они живут? где они только берут такое? — может, сидят три бездельника, со скуки один сочиняет, другой пишет, третий отсыает по любому адресу, — почтовая рулетка называется, Господи, папа, я обязательно разберусь...

Пока Кан все это говорил, отец медленно опустился на колени, — как раньше, от усталости, Кан за ним, тоже медленно, прислонился холодным лбом ко лбу отца, — замерли, вот-таки наступил и его черед, — на коленях, правда, не так, как ему мечталось, — значит, должен быть кто-то третий, больше и сильнее, чем они, кто бы мог их укрыть или, по крайней мере, развести, но никак не оставлять в таких беспомощных позах. И этот третий не замедлил появиться, точнее, нечто третье, — то ли небо, то ли потолок, то ли ураган, буквально сметавший их с пути; как только открывалась дверь и входил почтальон с очередной бумажкой; на почте открешивались, смотрели на Кана как на идиота, вы не почта, вы — мучители, — бормотал Кан со слезами на глазах, с трясущимися руками, из которых выпрыгивали белые бумажки, — зачем вы так издеваетесь над ним? Потом его просто выводили из отделения, обыкновенно женщина, ласковая, теплая, с толстой сумкой на ремне, полной новых посланий людям, — ничего, все образуется, может, в самом деле хулиганье, а может, в том, другом отделении затерялась почта, потом кто-то нашел, испугался, стал поспешно высыпать случайно на ваш адрес, — бывает и такое.

Да, в самом деле, приободрялся костюмер, я же говорил, здесь что-то со временем, — пулей домой: отец, я же говорил, здесь что-то со временем, отец кивал головой, значит, слышал, двигался дальше согласно маршруту, вдоль по коридору, со своими мыслями, со своим временем, увы, не совпадавшим со временем костюмера. Это Кан понял, когда заглянул в его комнату: теперь отец не сжимал ее в своих объятиях, он медленно и осторожно оглядывал ее со всех сторон, благо, та совсем его,

казалось, не замечала, — сначала лицо, руки, плечи, потом отойдет и посмотрит со стороны, потом приблизится... а вот этого, конечно, делать было никак нельзя, — водить рукой перед ее глазами, ведь не больная она была, а он не врач-невропатолог. Теперь уже Кан точно знал, что у отца есть свой план проверки, ибо после каждого своего прохода по коридору он по-хозяйски входил в комнату и деловито потирал руки, как хирург перед операцией, потом дверь плотно притворялась и — наступала полная тишина.

## 2

Главное, чтобы отец вконец не отчаялся, — мучительно размышлял Кан, отсиживаясь в своей костюмерной, не махнул бы рукой на все их годы томительного ожидания и не бросился бы вновь искать ту, что ушла от них много лет тому назад. Что за дурь ты несешь, успокаивал сам себя костюмер, отец уже в преклонном возрасте, правда, ни здоровья, ни упорства ему было не занимать, если что и отняли у него годы, так это память, вместо памяти — черная дыра, в которой, собственно, и мог исчезнуть отец в поисках какой-то другой женщины, тогда бы Кан мог сколько угодно кричать вслед ему, в эту дыру, мол, что же делать мне с этой наличной женщиной, что ждет тебя в соседней комнате, что же делать мне с той, которую ты приведешь, и кто даст мне гарантию в том, что после всего этого опять не посыплются на наши бедные головы эти проклятые телеграммы?!

Костюмер, ты что это делаешь? — выуживал его из той черной дыры властный голос завпоста, Кан словно просыпался, хотя спать он никак не мог, — сейчас вспомню, что же я делаю? — да, он стоял и рассматривал платье, которое ему принесли, все в дырах, изъеденное молью, — восстановить! — будет сделано, костюмер радостно переключался на работу, ведь если что и было у него, так это работа, — да, именно она, но никак не его дом с двумя стариками, судорожно скимавшими друг друга в объятиях: кто кого? В самом деле, кто кого? — он это платье или платье его, — строчка за строчкой, Кан был отличным костюмером, работу выполнял свою аккуратно, когда примерял на себя костюм, получалось, кто в кого, — да-да, в сущности, люди только и делали, что раздевались и одевались друг в друга, это Кан стал понимать давно, — с тех пор, как отец привел в дом эту седую женщину, одел ее собой, и все было бы хорошо, если бы не эти проклятые телеграммы. Правда, платья тоже доставляли ему огорчение, точнее, не платья, а актеры, в них выступавшие; бывало и такое: после премьеры — банкет, что ему стоило? — актеру такому-то, прямо в машину, в царских одеждах, по городу, в ресторан: я не такой-то, я — царь Эдип, о-ох, — всеобщее восхищение, Эдип так Эдип, Эдипу шампанского, пей до дна, Эдип, но где же твоя Иокаста? На следующий день, а то и позже, по факту возвращения платья, актеру объявляли выговор, Кан был строг и неумолим, хотя втайне жалел нарушителей, в самом деле, кто они были в жизни, а тут все как один пророки Тиресии. Рассматривая платье, Кан приходил в ужас, обыкновенно такие вояжи до добра не доводили, — нитку с иголкой, лоскутки, если не успевал, брал работу на дом, — в одну из таких бессонных ночей сидел над костюмом, кажется, тогда уже это началось,очные гудки в коридоре, по утрам телеграммы, — до него вдруг дошло: в сущности, они только и делали с отцом, что всю свою жизнь шили какое-то странное платье, которое должно было подойти к той одной, желанной, единственной, неповторимой, сидевшей за стенкой, теперь оказалось, не та, но — тогда ответьте! — кто вообще тот, а кто не тот? — и если бы он хотел по-настоящему иметь ту, а не ту, то ему нельзя было отпускать ее с самого начала, может, на секунду-две, но не на столько лет, как не

---

*O.Kamov*

## Песнь о Соколе

*Рассказ*

Безумству трезвых поём мы песню!..

*Студфольклор шестидесятых*

Он переехал в поселок «Речной Воздух» как только закончили стройку. Занял самый дальний участок, рядом с чистым леском, местный рынок недвижимости в то время уже не кипел, как Йеллоустоунские гейзеры, — можно было выбирать. К тому же его интересовал не престижный вид с крутоого берега на спешащий к Океану могучий серый поток, а скромные елочки-сосенки на задах. Между прочим, в тех иголках он в отдельные годы рыжики собирал, но здесь его добычу некому оценить.

И даже сейчас дома по соседству пустуют — не хочет управляющая компания цены снижать. Так что его покой не нарушали ни рычание многосильных моторов модных траков и навороченных внедорожников, ни детские визги, ни семейные ссоры — правильную берлогу себе выбрал.

Одно досадное исключение: редкие порывы западного ветра приносили иногда приглушенные стуки-щелчки выстрелов из тира-сарай Национальной стрелковой ассоциации рядом с прогулочной тропой, переоборудованной из заброшенной железнодорожной колеи. Впрочем, не позже восьми вечера убийства холодных мишеней заканчивались, и полная тишина опять торжествовала.

Общение никогда его не привлекало. В Рисерч Центре без этого было не обойтись. Но в свободное от работы время — извините.

А пенсионером сделался — потребность в слове изреченном почти исчезла. Тут и Интернет руку приложил: музыки, литературы, новостей — больше, чем требуется. И одновременно неграмотность, нетерпимость, открытая ненависть незнакомых больных людей расцвела ядовитым спектром. Гори они огнем, собеседники потенциальные. Ему выдуманные книжные персонажи ближе и понятнее. А милые звуки — вообще сами в душу ложатся, не требуют усилий для осмыслиения: все прожито-пережито давным-давно, все принимается с благодарностью с первой ноты. Причем слова, если Мария Каллас поет — это же «Каста Дива», это же Беллини...

---

Автор, сочиняющий под псевдонимом О.Камов, — специалист в области прикладной и вычислительной физики, окончил МФТИ, работал в одном из московских академических институтов. Рассказы опубликованы в журналах «Знамя», «Урал», «Новый Берег», «Звезда».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 12.

Правда, порою тоска наваливалась... Милосердно давала знать ему заранее: сухость во рту — как перед ответственным докладом. Или слабость неожиданная, по счастью, недолгая. Или новое чего-нибудь... Неважно, сразу доходило: оно.

Когда еще здоровье имел — лечился стандартно: грамм двести-триста односолового. Помогало.

Но не всегда, и тогда приходили сны и «эми сердечной угрозы» — ровно по признаниям кудрявого молодого чувака. В ночи он повторял все свои прискорбные отвратительные дела — один к одному. И ничего-ничего-ничего не мог изменить — как ни хотел. Какие же страсти им владели годы и годы назад? Не смыть ему печальных строк. А Поэт свои смыть — не хотел или не смог? Ведь мучился, слезы лил. Загадка...

Он даже к шринку сходил. Не к какому-нибудь психотерапевту-самоучке — настоящему психиатру, из Mental Health.

Конечно, он понимал, что этот визит ему карьеру может испортить. Да бог с ней, с карьерой, не тронуться бы умом, ведь можно пропустить момент, в который дураком сделаешься. И кто тогда подскажет? — он давно один как перст, но к добрым друзьям в дурдом не переедет ни за что.

Юный бородатый врач его разочаровал: слушал невнимательно, гнул свое, спросил коротко: «О суициде думали?» И когда он ответил мгновенно: «Нет!» — резко потерял интерес.

«Полегче, полегче, сэр, — что за страхи, какое безумие? — у всех нервы, в непростое время живем, вы же в Центре работаете, папа покойный там же трудился, оттуда каждый второй пациент приходит с одинаковыми жалобами, один раз в день, после завтрака, через три месяца встретимся, может, чуть подправим», — и протянул рецепт.

Видно, их теперь так учат. Пришел домой, залез в Интернет: антидепрессанты-нейролептики могут усиливать риск суицида — ну да, известный сайд-эффект, у многих лекарств наблюдается — получи то, от чего лечишься, основы философии.

Все же решил попытаться, начал таблеточки кушать. Долго не соображал, что с ним происходит: голова гудит, ни о чем думать не хочется, но тянет двигаться — неважно куда. Все свои действия оцениваешь как бы со стороны. И даже иногда с той же стороны как бы глядишь сам на себя — чур его, чур! С этими ощущениями ему красную ковровую дорожку раскатят прямо до Ментального Института.

Через три месяца позвонил мозгоправу, сказал, что все неприятные симптомы исчезли и попросил разрешения закончить лечение, — тот не возражал. Без дьявольского снадобья действительно полегчало.

И почти в то же время его посетили.

Он в тот день работал из дома, очень напряженно, завершали важный проект. Устал, откатился в кресле от компа, глянул в огромное, до полу, окно на балкон.

Большая птица, хоть и меньше орла, застыла неподвижно на перекрестье перил. Заостренный крючок клюва. Шея, как у борца, отсутствует. Пестрые перья с серовато-красноватым отливом...

Мистер Соколофф, или сеньор Фальконе по-итальянски: он уже видел их, часами парящих под облаками, перья крыльев и хвоста почти сливались в единую несущую поверхность неимоверной площади. Так вот почему из его ярда внезапно исчезли тучи назойливых юрких бурундучков-землекопов заодно с пугавшими его вначале безобидными садовыми змейками!

---

*Айгюн Мамедова*

# Старик решил умереть

*Рассказ*

Старик спустил ноги с кровати. За окном шуршал дождь, и ему казалось, что он слышит все так отчетливо, будто непогода у него в гостях, в его комнате. Старик не любил весенних дождей, сырых и промозглых. Другое дело летний, — как принять ванну в душный день. Сейчас бы закурить, мелькнуло у него. Он посмотрел на свои ноги. Смуглые толстые пальцы, некрасивые серо-желтые ногти. Не дотянуться уже, не привести их в порядок, не поранившись ножницами. Слава богу, есть сын. Эти ноги бегали по городу так много и долго в молодые годы, что теперь кажется, то был сон. Он не чувствовал их, просто они были — сильные, выносливые, большие. Что еще нужно для счастья? Сильные ноги!

Со стула лапшой свисали черные носки. Он пересел с кровати и натянул их. Еще год, может, два, и добежать до туалета станет проблемой. И не только его. Друзья-старики рассказывали, как чертыхаются невестки и дочери, убирая за ними. Человек жалок в старости. Он мечтал жить долго и не знать смерти, и подумать не мог, чем может обернуться долгая жизнь. Когда ноги окончательно покинут меня, я наложу в штаны, с грустью заключил старик, нажимая на слив унитаза.

— Каша недани<sup>1</sup>? — спросила невестка.

— Эхъ<sup>2</sup>, — ответил старик, присаживаясь за стол.

Сын поднялся из-за стола, чтобы налить чай, пока невестка наполняла тарелку горячей овсянкой. Старик ел медленно, думал о еде, о внуках, что учились в Махачкале, считал, сколько осталось до каникул, шумно выдыхал через нос. Дождь закончился, солнечные лучи яркими золотыми сетями проникали на кухню через окно. Под этими лучами плясала пыль и слегка нагревался пол. Мысли порхали в голове старика, и ни одна не задерживалась надолго. Допив чай, он посидел часок-другой у телевизора, правда, больше смотрел на сына, чем на экран. Тот уснул на диване: воскресный день. Его мальчик всегда спал спокойно, и безмятежность, разлитая на лице сына, радовала старика. Легкий ветер через полуоткрытое окно на балконе надувал парусом занавески. Старик накрыл сына пледом и ушел к себе, чтобы надеть свитер и встретиться

---

*Айгюн Мамедова* родилась в Баку. Окончила филологический факультет Дагестанского государственного университета. Печаталась в журналах «Гений», «Вайнах», сборниках «Мы — молодые», «Новые писатели», альманахе «Кавказский экспресс». Живет в Праге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

<sup>1</sup> Кашу будешь? (лезгин.)

<sup>2</sup> Да (лезгин.)

с друзьями. Пиджак, сигареты (он похлопал по карманам, чтобы удостовериться, что они там), шляпа. На пороге, уронив металлическую ложку для обуви, он разбудил сына.

— Фена зун<sup>1</sup>.

— Фена? Базардиз<sup>2</sup>? — сквозь сон спросил он.

— Эгъ. Вун ксус<sup>3</sup>, — ответил старик и как можно тише притворил входную дверь.

Третий этаж — страшное испытание.

Рынок гудел, кричал, был в движении, сродни большой песочнице, в которой резвятся неугомонные дети. Запахи шаурмы и жареного мяса щекотали ноздри, вид гогалов, аппетитных солнечных кругляшней, манил к себе.

— Недорого, отец! — возник из ниоткуда голосистый продавец. — Вкусный свежий гогал, недорого. Еще горячий! Сколько положить? — тут же наготове пакет.

— Нет, нет. Спасибо, спасибо.

Старик пошел дальше. Гогалов ему не хотелось, но ему нравилось смотреть и думать, что он все еще чувствует вкус еды, как раньше. Старик был горожанином, и родной Дербент он исходил вдоль и поперек тысячу раз и столько же, наверно, один или с друзьями, садился где-нибудь в тени деревьев, чтобы перекусить вкусным гогалом. Он знал наперед, что будет: соблазнительный хруст соленой булки, мягкое слоеное тесто, переплетенное с яичным желтком, запах горячей выпечки. Какая все-таки мука — помнить. Что толку, если радости нет. Из старой жизни он прихватил привычку, которая не раз вызывала семейные споры: курить или не курить? Сколько раз он читал на коробке «Курение вредит вашему здоровью», сколько раз думал бросить, потому что жизнь ценнее, и что теперь? Смерть, где ты? Я устал. Дым вышел через ноздри, он затянулся снова. Ммм, нравится, как и всегда. Но ради сигарет цепляться за жизнь все-таки не стоит. Какой абсурд.

Среди небольших зданий северного рынка, что лепились уродливо то там, то тут по бокам, старик быстро нашел свое любимое пристанище: маленькая комната с окном почти во всю стену, стекол не было, лишь металлические толстые прутья. Внутри расставлены столы, и на каждом — нарды или шашки. Одни старики внутри сменяли других. Кто-то больше не мог ходить, кто-то умирал, а комната — жила по сей день. Прекрасный островок единомышленников. Он докурил и вошел.

Когда она проплыла мимо него с тихой улыбкой, старик на секунду — на вечность! — обомлел и застыл на месте. Если бы во рту по-прежнему дымилась сигарета, она бы киношно упала на пол.

— Дуст! Я, дуст!<sup>4</sup>! Давай сыграем! — позвал его Исмаил. Старик присел к столу, видение улетучилось. Интересно, кто это? Друзья пожали руки. — Давай сыграем. Я уже расставил все. Сегодня я тебя точно обыграю.

— Это кто? — двигая шашку, спросил старик.

— С Абдулом?

— Да.

— Марият, — ответил знакомый, подергивая нетерпеливо седой ус. — Абдул болел, а теперь плохо ходит, — они оба посмотрели в сторону Абдула, старика лет восьмидесяти, расставлявшего фигуры на доске дрожащими пальцами. — Дома сидеть

<sup>1</sup> Я пошел (*лезгин.*)

<sup>2</sup> Пошел? На рынок? (*лезгин.*)

<sup>3</sup> Да. Ты спи (*лезгин.*)

<sup>4</sup> Друг! Эй, друг! (*лезгин.*)

*Анна Гедымин*

## О драгоценных и не очень

\* \* \*

В долине ветра и света,  
На лугах асфоделей,  
Давай проведём с тобой лето  
Или хоть две недели.  
Будем ходить в гости,  
Будем играть в кости,  
И собирать грозди,  
И забивать гвозди.  
О прошлом думать не будем,  
О будущем — редко и мало...  
Ты об этом мечтала?

Я об этом мечтала.  
Но я не поеду с тобой  
В этот край зелёный и голубой,  
Где полощутся поутру  
Лоскунные бабочки на ветру,  
А под вечер, задумавшись, бредёшь за версту  
С медовой травинкой во рту.  
Я не поеду с тобой в этот край,  
В этот рай,  
Я сохранию мечту.

\* \* \*

В том, что мы разбежались  
(А могли бы не выжить в последней сшибке),  
Я не вижу ни злого рока,  
Ни системной ошибки,  
Ибо страсть, что испытывали,  
Бравируя ли, таясь ли,  
Далека от нежной приязни.

---

*Гедымин Анна Юрьевна* — поэт, прозаик. Родилась и живет в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор восьми стихотворных сборников и двух книг прозы. Лауреат нескольких литературных премий.

В назиданье — нам врозвь теперь  
Бродить по бульварам.  
Так нельзя обходиться  
С ниспосланным божьим даром.  
И тем более наши сетованья смешны,  
Если это было от сатаны.

Смотрит жалостно мама с портрета,  
Подбадривает:  
— Держись!  
Что ты носишься с ним,  
Как с писаной торбой!  
— Ничего я не плачу.  
Но знаешь, мама,  
Гори она синим огнём, эта жизнь,  
Без любови его недоброй...

### *Напоминание о путешествии*

Пожилые пейзане  
С выцветшими глазами  
Застыли пред образами.

А теперь в кинозале  
Нам их вновь показали.

Вот для чего в июле  
Судьба поднесла нам на блюде  
Странные две недели,  
Ненастные две недели!  
Чтобы, оставшись в июле,  
Незнакомые люди  
На нас с экрана глядели.

С дальних тех берегов —  
Как глядят на богов,  
Не вдаваясь в детали,  
Кем бы мы сами себя ни считали.

\* \* \*

Нежен и боязлив  
Вечерний залив.  
Плаваешь до первой звезды,  
Почти не тревожа воды.  
Через десяток лет  
Этот неровный свет  
Вернётся к тебе во сне —  
Мурашками по спине.

\* \* \*

Когда откроют парки и харчевни,  
И мой сосед, болезненный на вид,  
Вернётся из запоя и деревни,  
Где счёл разумным переждать ковид,  
Наверное, мы встрече будем рады,  
И я стерплю — соседский долг таков —  
Его хиты доельцинской эстрады,  
А он простит мне чтение стишков.

Какие счёты!  
Смерть промчалась мимо,  
Не выбрав нас,  
Позволив — без борьбы —  
Не сгинуть в этот раз в неодолимом  
Огне судьбы.

\* \* \*

На станции, в безлюдной чайной,  
Назначенной под снос,  
Какой узор необычайный  
Нарисовал мороз!

Средь фантастических растений,  
Цветущих на стекле,  
Промелькивают чьи-то тени,  
Родные в том числе, —

Тех, драгоценных и не очень  
(Теперь, со стороны,  
Из этой непроглядной ночи,  
Они почти равны),

Шумливых, всё же постаревших,  
Озябших без огня,  
Не обязательно умерших —  
Покинувших меня.

Что ж, сколько ни броди по свету,  
Судьбу не превозмочь:  
И ты однажды выйдешь в эту  
Распахнутую ночь.

И — ни разлук уже, ни горя,  
Свет одолеет тьму.  
И мы, как прежде, в общем хоре  
Споём по одному.

*Пётр Карцев*

## Грешенка

*Рассказ*

Ipse simulat se captum ut te capiat;  
a te inclusum, te finaliter concludat.

*Henricus de Hassia<sup>1</sup>*

— Роман, — сказал он, останавливаясь у скамейки.

— Повесть.

— Что «повесть»? Это отзыв? — неуверенно пошутил он.

— А что «роман»?

— Это мое имя.

Она прищурилась поверх темных очков.

— Ах да. Но вы...

— В частной жизни Роман.

— В таком случае — Роман Виленович, я полагаю?

— Давайте без формальностей, — попросил он.

— Профессиональная этика, — охладила она, но без заносчивости.

Она сидела в длинном черном платье, закинув ногу на ногу, и покачивала носком синей туфельки. Ее рука была вытянута вдоль спинки скамейки, и вся поза демонстрировала праздную расслабленность. Не проявляя участия к его нерешительности, она слегка наклонила голову и подкрутила пальцем короткий черный завиток на шее.

*Лесбиянка*, с любопытством подумал он.

У нее была короткая мальчишеская стрижка, изящно выполненная, с четко прорисованным левым пробором и выразительно-небрежно зачесанной набок челкой. Волосы лежали мягко, и это вызвало его расположение. Если бы они торчали жестким ежиком, это бы его непременно насторожило. А плохо было то, что голова ее с этой стрижкой казалась непропорционально маленькой для долговязой фигуры.

— Могу я сесть?

---

*Пётр Карцев* родился в 1968 году в Москве. Учился на факультете психологии МГУ и в Московском государственном лингвистическом университете. Известен переводами классики кино, выполненными в 90-е годы. Автор романа «Тропик Водолея» (2017). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

<sup>1</sup> Прикидывается пленным, чтобы пленить тебя;  
в тебя проникнув, тобой овладевает. (*лат.*)

*Генрих фон Лангенштейн*

Она слегка приподняла ладонь, лежавшую на спинке, и сделала короткий привлекательный жест. Он сел, украдкой бросив взгляд в сторону выхода из парка — зеленой арки из двух сходящихся древесных крон. Отсюда было видно нос машины, припаркованной у обочины, и шофера, который стоял с сигаретой у капота и смотрел в их сторону. Шубейкин, с одной стороны, испытывал абсурдное удовольствие от того, что встречается с привлекательной молодой женщиной на глазах у шо夫ера. *Чистый экстремизм, сокрушенno и радостно подумал он.* А с другой стороны, ему было все же немножко тревожно: пусть даже тот старый гэбэшник и всегда корректен, может ли он быть вполне неподкупен? Все-таки человек деликатный и нелюбопытный, даже если бы подглядывал, не стоял бы и не пялился так откровенно в их сторону.

— Оплата будет наличными? — прервала его мысли долговязая.

Он улыбнулся невольно.

— А вы, что же, и карты принимаете?

Между ними лежали, чуть прикрытые ее склоненной фигурой, миниатюрная синяя сумочка и черная папка для бумаг. Она раскрыла сумочку и продемонстрировала Шубейкину содержимое. Внутри, вместе со всякой женской мелочью, имелся портативный платежный терминал.

— Но это не всегда в интересах клиента, — сказала она.

— Я предполагаю, что не в ваших интересах тоже, — с любезной улыбкой парировал он.

— Что вы имеете в виду? — спросила она с легким удивлением, как ему показалось, за бесстрастной маской.

Шубейкин вскинул перед ней обе ладони.

— Я не задаю никаких вопросов о происхождении лота, — сказал он. — Это ваше дело.

Она слегка нахмурила лоб.

— «Лота»?

— На языке аукционных домов, — объяснил он. — Называйте как хотите. Но я в нетерпении, поэтому скажите мне скорее, что это. «Сын отечества» или «Благонамеренный»?

Она изучающе рассмотрела его лицо в деталях, словно пластический хирург, рассчитывающий стоимость операции.

— Роман Виленович, — произнесла она наконец. — О чем вы говорите?

Он цокнул языком и прикрыл глаза, переваривая разочарование.

Затем покачал головой.

— Увы, — сказал он, — я надеялся на чудо. Издания двадцать шестого и двадцать девятого года у меня есть. Конечно, если ваша книга в блестящем состоянии...

— Боюсь, что вы находитесь во власти заблуждения, Роман Виленович, — прервала она.

Все еще покачивая головой, горько чертыхаясь про себя, он хлопнул ладонью по правому карману пиджака, достал оттуда записку.

— Как вам удалось, кстати, проскользнуть мимо консьержа к почтовым ящикам? — спросил он.

— У нас есть методы, — машинальным тоном произнесла она, принимая у него из рук листок с неровным краем, как вырванный из школьной тетради. — Все верно, — прочитав, подтвердила, скомкала бумагу и убрала в сумочку. Шубейкин проследил взглядом судьбу записи, но ему не пришло в голову возражать.

— Если вы хотите сказать, что обладаете неизвестным доселе изданием, то поверьте, я слишком стреляный воробей, чтобы...

— Изданием чего? — уже несколько устало перебила она.

— Ну как же, — он ткнул пальцем в сторону сумочки. — Вы же сами написали. «Неверную деву лобзal армянин». И сами предложили встречу.

— И какой вывод вы сделали?

— Очевидный, — сказал он, начиная слегка кипятиться. Сколько бы сомнительным ни было происхождение ее экземпляра, все эти эquivоки и лукавая уклончивость не служили никакой цели и выводили его из терпения. — Единственный и очевидный вывод: что вы предлагаете мне купить одно из первых изданий, содержащих публикацию «Чёрной шали». Я смел надеяться, что это будет пятнадцатый выпуск «Сына отечества» за тысячу восемьсот двадцать первый год или хотя бы десятый номер «Благонамеренного», что тоже превосходно. Но прижизненные книжные издания у меня уже есть, одно из них даже...

Она откинула маленькую головку назад и расхохоталась. Линия шеи у нее была изящной и тонкой, удивительно беззащитной вопреки деловой и небрежной манере разговора с мужчинами. Вообще ее хрупкость и открытые тонкие плечи были приятны Шубейкину, и он решил не сердиться на нее, какой бы глупостью ни оказалось в итоге ее предложение.

Когда взгляд брюнетки вернулся к нему, из-под очков были видны высоко вздернутые завитые ресницы.

— Простите, — еще с дрожью веселья в голосе сказала она. — Кто написал «Чёрную шаль»?

Он уставился на нее.

— Пушкин, разумеется.

— Так, — зафиксировала она достигнутый прогресс тоном человека, пытающегося прорваться через недоразумение кратчайшим путем. — Я вижу теперь, что в контексте библиофилии ваша интерпретация записи была эксцентричной, но допустимой.

Шубейкин тряхнул головой.

— То есть речь не о Пушкине?

— Не сегодня.

Он чуть отстранился и даже отодвинулась от нее немного, слегка опустив подбородок, глядя подозрительно.

— Но тогда, позвольте... в чем причина нашей встречи?

— Меня можно не бояться, — перешла она вдруг почти к развязности. — Пушкин бы оценил иронию. Забавно, что вы отнесли цитату на счет антикварной реликвии, из которой она позаимствована, а между тем, жизнь следует литературе на каждом шагу.

— Пушкин не реликвия, — возразил Шубейкин.

— И я вам это докажу, — согласилась она. — За подобающее яркости примера вознаграждение.

— Ого! — сказал с усмешкой Шубейкин. — Что же вы хотите мне предложить? Моя интересы...

— ...Не ограничиваются Пушкиным, вероятно?

Он развел руками.

— Я полагал, что Пушкин вмещает в себя мир. Вы когда-нибудь слышали про энциклопедию русской жизни?

— Том первый. От А до адюльтера.

— Тогда знаете ли вы, что «адюльтер» происходит от латинского образования, означающего «привносить из запредельного»?

У Шубейкина не было интеллектуальных претензий, но он много читал и даже мечтал втайне поразить когда-нибудь академический и литературный мир небольшой, но блестящей аргументированной статейкой о каком-нибудь пропущенном аспекте пушкинского творчества. Тщеславия он был лишен; но яркой звездочкой мелькнуть на небосклоне литературы и раствориться — это было бы ему приятно.

Собеседница изучала его сквозь темные стекла.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Коли под вами лед сам не треснет, придется ломать. Простите великодушно.

---

*Сергей Маркелов*

# Воронка

*Рассказ*

## 1

Черная грязь чавкает под черными сапогами. Над головой непривычно чистое небо. Я ташу по заливу тяжелый толстый железный трос, выкладывая его петлей, кидаю на проушину трактора, трактор затягивает петлю, тянет трос, на другом его конце висит отпиленный кусок корабля — трактор дергает, кусок трещит и, кажется, должен упасть с громовым скрежетом, но почему-то падает неожиданно мягко, а звук металла глухо погружается в густую грязь.

— Смотри, чё это там? — крановщик Боря полузынулся из окна, показывает на столб дыма метрах в ста от нас.

— «Смоленск» горит, — отвечаю я.

Мы молча наблюдаем за черным дымом, который валит из соседнего корабля. Похоже, горит солярка. Дым, плотный у основания, рассеивается, истончается и становится прозрачным в небе над Кольским заливом, где, непривычное даже для конца июля, висит желто-оранжевой кляксой солнце. Лето в Мурманске очень короткое, я это знаю, я это помню, я где-то здесь родился.

— Ладно, потащили, — говорит Боря.

Он возвращается в кабину, трактор срывается с места, словно его толкнули в спину. Позади на тросе волочится кусок корабля. Я иду следом, уворачиваюсь от танцующего в воздухе натянутого троса, показываю Боре жестами, куда ехать, — чтобы не потерять кусок, чтобы трос снова не порвался, чтобы мне не пришлось снова тянуть его по заливу, утопая по щиколотку в глине, чтобы оторванным концом троса мне не дай бог не отseklo башку. Трактор идет рывками, кусок слишком большой для него, хорошо бы подтолкнуть сзади БАТМом, но это надо идти за другим водителем, терять время, заводить БАТМ, а рабочий день на исходе и куда интереснее узнать, что же случилось на «Смоленске», — поэтому тащим медленно, аккуратно, легкими рывками — грязные, уставшие, потные, воюющие пробираемся к площадке. Туда же от «Смоленска» ташатся двое — Лёха и Саня-блондин. Лёха хромает, потому как хромой. Саня почему-то хромает тоже.

— Боня, хрень мутный, опять на помойке жрал?! — кричит Блондин на рыжего мелкого пса, который выется у его ног, виляет хвостом. — Отвали!

---

*Сергей Маркелов* — журналист. Родился в Мурманске, окончил филфак Петрозаводского государственного университета. Участник форумов молодых писателей 2013 и 2014 годов. Живет в Карелии.

Блондин, как всегда, широко улыбается, но в этот раз он какой-то ошарашенный, почему-то весь белый с головы до ног, привычно белыми бывают только его волосы. Он в своих вечных джинсах и джинсовке, кирзовый сапог на правой ноге распорот, словно полоснули ножом.

— Саня, ты чё? — спрашиваю я.

— У него спроси, — кивает Блондин на Хромого.

— Я при чём? — отвечает Хромой.

На нем прорезиненный мешковатый плащ, защитные очки криво сидят на башке, взгляд, как всегда, глуповатый.

— Это ж надо, — говорит Блондин, делает шаг, щурится от боли, хватается за промежность. — С-сука, по яйцам зарядило.

— Кто ж знал, кто ж знал? — лопочет Хромой.

— «Кто знал, кто знал», — передразнивает Блондин. — Блин, яйца болят.

— Чё весь белый-то? — спрашиваю я.

Блондин оглядывает себя, пытается отряхнуться, ему больно, он и сам удивляется, что весь белый.

— Правда, белый, — удивляется он. — Огнетушитель... вон, сапог разрезал, хорошо, нога целая, и по яйцам шлангом, потому что... Солярка, это, загорелась... этот придурок за ведро... Я ему: «Куда?!» — а он херак ее... воду. На солярку. Она горит ведь. И полыхнуло. Я за огнетушитель. Он как рванет в руках... Больно, и руки отшибло, что ли. Надо больничный брать, дадут хоть больничный-то? Нахера водой-то солярку, если горит?

— Нельзя солярку водой, если горит, — спокойно замечает Боря. — Надо, в общем, помпу заряжать — бросай, Серёга, скажи Владимиру Сергеичу, чтобы это, а то сгорит весь к чертям.

Боря показывает взглядом на полураспиленный корабль, из которого валит дым. Снимает черную перчатку. Достает сигарету. Закуривает.

— Ладно, хорошо не сгорели, — говорю я. — Пойду...

Блондин все так же ошарашенно смотрит по сторонам, словно он и залив этот, и небо, и меня, и Борю, и Хромого, и пса Боню только что увидел, только что осознал, что мы есть, что он есть, что они только что чуть не сгорели на корабле.

— Полыхает-то как, — замечает он. — Больничный-то должны дать...

Полураспиленный корабль «Смоленск» похож на буханку хлеба, у которой вырызли середину. Как раз оттуда валит черный дым, полыхает огонь, где-то наверху в клубах дыма кружит толстый баклан.

Мне двадцать два года, полтора месяца назад я кое-как закрыл сессию в университете, в который раз поскандалил со своей подругой и сбежал в Мурманск, где работаю такелажником на заливе, прохожу практику в журнале «Мурманская миля», пытаюсь замутить с официанткой из пивнушки на Скальной, а в перерывах и перекурах забираюсь в еще не распиленную каюту и читаю сборник отечественной фантастики, найденный среди книг из разоренной корабельной библиотеки.

— Ладно, пойду... — повторяю я и бегу сказать мужикам, чтобы заряжали помпу.

\* \* \*

Утром сложнее всего было засунуть руки в колючие рукава.

Я вскрывал стены в каюте, снял слой ДСП или ДВП — попробуй вспомни уже, как называется этот кусок обшивки, под которым слой стекловаты. Мужики сказали, чтобы я не парился:

— Серёга, не парься, это минвата — она не колется! — так и сказали.

Было жарко, я разделся до футболки. Вытаскивал мягкие желтоватые куски, потел под мурманским солнцем и от мурманской влажности, наслаждаясь теплом и красотой залива, тем, как минвата блестит на солнце. Удивлялся гениальности тех, кто

придумал минвату. Руки начали дико чесаться к вечеру. Куртка кололась месяц, пока я не плонул и не купил новую...

Вечером самое сложное было подняться на сопку. Потому что устал, потому что конец рабочего дня, потому что триста шестьдесят пять или больше ступенек, потому что в Мурманске высокая влажность, потому что весь мокрый и куртка неприятно колет руки, потому что где-то на середине магазин, крановщик Боря уже покупает водку «Пять озёр», до конца лестницы я так и не дохожу.

В субботу утром мужики отпиваются пивом. К обеду прихожу в себя. Залезаю в кузов, помогаю грузить мусор — надо мной болтается здоровенная сетка с металлом. Крановщик Боря с похмелья дергает рычаг, стрела крана прыгает в сторону, сетка с мусором несется на меня. Инстинктивно падаю на корточки, что-то огромное громко бьет по краю кузова у меня над башкой. Встаю, кручу пальцем у виска, крановщик Боря улыбается, разводит руками, мол, извини. В который раз я представляю, что моя башка, как раздавленная вишня, стекает по борту кузова. Это легко представить, особенно когда над тобой болтается огромная магнитная шайба с тяжелыми кислородными баллонами.

— Серёга, — кричит из кабины Боря, — все, забей, пошли обедать!

Отряхиваюсь, иду обедать. День у меня нормирован. Рацион сбалансирован. Я не разрешаю себе есть из разных тарелок, чтобы потом не мыть гору посуды. Покупаю котлеты «Поморские», съедаю не больше одной за раз. На работу обязательно беру вареное яйцо — в перерыве только на нем можно продержаться от завтрака до обеда. По выходным стираю черные носки в танцующей по ванной комнате стиральной машинке «Вятка-автомат». Один пакет чая, пара ложек кофе, ложка сахара, бутылка лимонада, куриные кости псу Тимохе. В субботу вечером все идет по пизде.

С другом детства Женей пьем пиво у меня дома, едим из всех тарелок, едим все, что есть в холодильнике, потом едем в пивнушку на Скальной, я выношу мозг безответной официантке, уезжаем без нее в ночной клуб, в ночной клуб нас непускают — ругаюсь с охранниками, иду нахер, еду домой в гордом и усталом одиночестве.

В воскресенье прихожу в себя.

В понедельник выхожу на улицу. Привыкаю к серой сырости утра. Покупаю сигареты. Сажусь в автобус номер восемнадцать. Доезжаю до конечной. Спускаюсь по длинной лестнице к заливу. Наслаждаюсь видом залива, ржавыми кораблями, черной грязью, горами железа, рыже-зелеными сопками на Абрам-мысе. Прохожу мимо лающих собак. Здороваюсь с псом Тимохой. Захожу в бытовку — длинный зеленый вагончик, — жму сухие, мокрые, мягкие, мозолистые, большие и твердые мужицкие ладони. Надеваю пропитанную соляркой, жирную, тяжелую и вонючую одежду, мажу мазью разбитую кирзовыми сапогами ногу, сую в карман респиратор, сажусь за стол, наливаю кипяток, сыплю две ложки кофе и ложку сахара, кидаю в рот одну печеньку.

— Чё-то руки стали трястись постоянно, — говорю мужикам, глядя, как в руках танцует чашка. — И шум моря по ночам в ушах.

— Это нормально, — замечает у окна Блондин, стряхивает в окно пепел с сигареты.

— Говорят, если это, часто работать с этими, болгарками, отбойниками... — водитель Вова подбирает слова, хлюпает растворимым кофе.

— С виброИнструментом, Вова, — улыбается Блондин. — Это называется «виброИнструмент».

— Да, ну вот, если этим самым часто работать, мясо от костей начинает отслаиваться.

— Обалдеть теперь, — смеется Блондин. — Э-эх, что делать, пойдем, что ли, этим самым работать?

---

*Даур Начкебиа*

# Рассказы

*С абхазского. Перевод автора*

## Сказка

Жили-были старик со старухой...

- Пойми, они пришли убить нас.
- Ты в своем уме? Что значит, убить, за что?!
- Раз пришли, другого выхода у них нет.
- Чтоб убивали невинных — такого я что-то не слыхала! И потом они ведь наши!..

К шесту, на котором была закреплена антенна, старик приладил другой такой же и поднял конструкцию как можно выше.

— В целое состояние обошелся нам твой телевизор, да так вот и будет стоять в углу и собирать пыль?! — ворчала старуха.

Она с самого начала была против: с их курами-индюками, коровами-телятами, огородом-садом — есть ли время пялиться в экран!

— На старости лет мир посмотрим — хотя бы по телевизору, долго ли нам еще топтать землю? — разжалобил ее старик, и она согласилась. Пришлося загашник, годами копившийся с пенсии, выпотрошить, причем изрядно — что еще оставалось, ведь нынче все так дорого.

Многое знает и понимает тот, кто многое пережил. Может, и старится человек, зная и понимая больше, чем нужно? Старик был как раз из таких, — и хотя тело его все еще подчинялось уму, но сердце в нем было сдавлено и скужено холодом существования и давно уже истосковалось по тишине, по забвению.

Телевизор не заработал как надо. Если покрутить шест с антенной в разные стороны, то либо изображение появится, либо звук, но чтобы они собирались вместе — такого не бывало.

---

*Начкебиа Даур Капитонович* (р. 1960) — абхазский писатель, публицист, издатель, государственный деятель. По образованию физик, окончил Тбилисский государственный университет. Автор сборников рассказов «Предчувствие» и «Дерево», романа «Берег ночи», книги публицистики «Лицом к лицу». Проза переведена на английский, армянский, грузинский, испанский, сербский, хорватский и др. языки. Живет в Сухуме.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2019, № 10.

Они жили в ущелье, вдалеке от села. Из-за плохой дороги и отдаленности автобус до них не доходил, изредка самое необходимое — мыло, спички, соль, керосин — они закупали в сельмаге. И в этот раз он сел на свою клячу и потащился в село за монтером. А тот объяснил, что сигналам прорваться до их антенны мешают горы, что они, сигналы, отражаются от склонов и рикошетом уходят в небо. Надо поднять антенну повыше, тогда она заарканит побольше сигналов и гуртом загонит их в телевизор.

«Видать, горло у нашего ущелья узкое, надо бы антенной расширить его», — по-своему понял старик.

Когда старик со старухой очнулись, их выволокли и заперли в передней комнате.

Как-то утром к воротам на двух джипах с открытыми верхами подъехали военные. Они мигом выпрыгнули из машин, распахнули ворота и ступили во двор. Старик, увидев их, оставил скотину и пошел навстречу, но не успел и рта раскрыть для приветствия, как его саданули прикладом по голове, и он со стоном повалился на траву. Старуха все это видела, она вскрикнула и рванулась к старику, но и ее тоже уложили прикладом автомата. Двое, держа оружие наготове, встали у дверей, двое забежали в дом, остальные настороже двинулись в сад, огород, коровник...

Оба водителя не шелохнулись в джипах. В переднем — некоторое время сидел без движения и некий человек в темных очках, потом вылез, неторопливо зашел в ворота и двинулся к дому. Он был без автомата, только рукоять пистолета торчала из кобуры на поясе.

Он подошел к лежащему на земле с окровавленным лицом старику и навис над ним.

— Их подозрение вызвала поднятая антenna. Говорят, я — шпион. Оказалось, в большом мире идет война, а мы и не знали.

— Боже праведный! И что ты им ответил?

— Отрицал, конечно, но кто бы меня услышал...

— Вот и сон в руку. На днях приснилось, будто мутная жижа залила наш двор.

— Так и есть: влипли мы, да еще как влипли — по самое горло. Ума не приложу, как выпутаться из этой передряги.

Крепко сбитые, похожие друг на друга, будто их одна мать родила, все с одинаковыми каменными лицами и холодом в глазах... Командир — еще крепче, еще каменнее и еще ледянее, казалось, на кого посмотрит, тот промерзнет насеквоздь. И все же в его лице было больше жизни, оно выражало внутренние движения, — или он умело притворялся. Сейчас на его лице было написано недовольство: не время возиться с этими стариками, есть дела поважней.

Заговорил, и стало понятно — ледяной облик лишь маска; голос — как у нормального человека, даже с теплотой, а не с металлом, как думалось.

— Лучше бы мы ничего не слышали, ничего не знали, ничего не видели. Жили бы дальше в своей глухомани...

— Не дал ты нам помереть спокойно!

Перерыли весь дом, осмотрели каждый угол, опрокинули кровати, из шкафов выгребли одежду, постельное белье и побросали на пол, посуду раскидали и перебили. Столь же тщательно осмотрели все вокруг дома: двор, амбар, коровник, винный погреб, заглянули даже в нужник.

— Война и так одно сплошное безумие, почему же в том, что мы делаем, ты ищешь смысл, старик?

— Я тоже когда-то воевал...  
— Тогда войны были другие, не то что сегодня...

Здорово натасканы, — думал стариk, глядя на них. Даже позавидовал: имей мы в свое время такую подготовку, не погибло бы столько, многие и сегодня бы были бы живы. А теперь что толку сокрушаться... Какие ребята тогда полегли — вспомнишь, дыхание спирает. Но прочь утешение женщин — жидкое излияние из глаз! Только не это!

Хотя, может, лучше, чтобы душевная мука прорвалась и растеклась по морщинам солоновато-горьковатыми каплями? Только так можно вырвать из сердца тех ребят, навечно проститься с ними — освободить и себя, и их. Но — нет: никакого самоутешения, никакого самообмана. Это слабость, это значит — сдаться. С открытыми, незамутненными глазами...

— Если думаешь, что мне все это нравится и я ничего другого не умею, то глубоко ошибаешься. Я, как и ты, из землепашцев, соху предпочитаю любому оружию — отец с малых лет приохотил к земле. Но в армии из меня выбили все крестьянское и научили вот этому. Надо защищать родину, кругом враги, дадим слабину — раздавят, сказали мне, и я поверил. Что мне оставалось, — ведь кто-то должен служить государству, если все возьмутся за соху, наши враги не оставят от нас камня на камне... Я никогда никому не говорил подобного — я смирился со своей судьбой. Тебе сказал, потому что... сам понимаешь, не глупый...

Старик догадался, что он имеет в виду, ему стало не по себе. Это умрет вместе с тобой, кроме своей старухи тебе не с кем будет поделиться, но это умрет и с нею тоже — вот что означали его слова...

Сорока пяти-сорока семи лет, не больше. По виду и столько не дашь — силен, ловок, статен, широкоплеч. Но глаза... Они выдавали его: изнутри он был стар и изношен. Провести старика ему не удалось: в глазах его виделась та же мука, что прежде времени старит, та же, которую он видел в глазах выживших после боя ребят. Когда ты в душе распрощался со всеми и всем, что любил, и готов к смерти, и вдруг тебя выбрасывает на этот берег, и ты выносишь лишь меньшую часть себя, большая уходит на дно, оставив нескончаемую, непреходящую муку в глазах.

— Переношуем здесь, я уже сообщил в штаб. Организуйте перекус и ночлег, выставьте караул — смена каждые два часа. Будьте бдительны — враг может напасть в любую минуту! — строго сказал он, и не понять было, на самом ли деле печется о них или выполняет устав.

Он, последний солдат Великой войны...

— Лучше было бы вам сидеть тихо в своей норе, мир уже не тот, какой вы знали. Червоточина завелась в мире, не сегодня-завтра он рухнет, как сгнившее дерево. Ты ведь мудрый, почему забыл, что во многом знаний многая печаль? Зачем вам нужен был на старости лет этот телевизор, гори он синим пламенем! Здесь вокруг такая красота, что и вечность не надоест, а вам этого не хватило...

На следующее утро, едва занимался день, оба джипа стремительно выехали со двора, оставив позади, словно прихваченную льдом, гулкую тишину. В переднем джипе сидел командир, скрывая за темными стеклами очков всегдашнюю муку в глазах. Лицо его, как всегда, было каменным.

---

*Андрей Верещагин*

## Два рассказа

### *Аппроксимация*

Говорила, что не боится, но черт ее знает, по раскрасневшемуся от жары лицу не поймешь — лживый румянец в последние дни вообще никого не выдает. Взять того же деда из 301-й: раньше можно было сказать наверняка, выпил он угля или схаркнул под матрац, а сейчас сколько ни вглядывайся в этот влажный измятый крек — ничего не вскроешь, никаких секретов. Они теперь все как налитые яблочки ходят, а кто не ходит, тот лежит в потном гало. И тоже красный. Валыч шутил, что так они будто святые с нимбами, потому что если никого во лжи не уличить, значит, все говорят правду, а святые как раз не врут.

С этой у Валыча сложилось по-особенному. Тимохина въехала в понедельник, высоко вскидывая колени, поднялась на второй этаж и смиленно выслушала указания дежурной сестры: о питании, об отбое, о том, что делать в случае острых болей. Та потом расписывала главврачу Жургину, какая «поциенточка-красоточка», да как с ней легко и приятно будет работаться, да как она не скандалила и не хамила, да как даже Фурцева, к которой подселили новеньką, встречала шаберку не матом и проклятиями по обыкновению, а тихим «здравьте-здравствуйте» и скорбным собачьим взглядом. Жургин почесался, но все-таки отложил знакомство до вечернего обхода, а вот Валыча заинтриговало, поэтому он, приклеив взмокшие волосы к макушке, отправился к Тимохиной.

Появился на пороге важно, в белом венчике дверного короба поклонился Фурцевой (та хрюкнула и отвернулась к стене), представился, однако ответа не получил. Новенькая будто и не слышала, занятая перемещением тряпья из рюкзака на постель: стопка полотенец, штанов и футболок ханойской башней росла перед ней, чтобы завершиться шуршащим пакетом с банными принадлежностями. Все это можно снести в кладовую ниже по коридору, прокряхтел Валыч, когда Тимохина выпрямилась; спасибо большое, ответила она. Валыч предложил показать ей ее место, а она этак подняла брови, что он осекся и перефразировал: сказал, что имел в виду ящик, а не иерархию. Он прикрылся неловкими хиханьками, но хаханьки отзывом не последовали — только строгий кивок в сторону открытой двери. По пути Валыч

---

*Андрей Верещагин* — журналист. Родился в Санкт-Петербурге в 1992 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры (2009). Живет в Санкт-Петербурге. Это первая публикация автора.

осведомился у Тимохиной, с чем пожаловала, а она пожаловалась на рези в нижней части живота, картино приложив руку к оголенному пупу. А, аппендицит, понимающе протянул Валыч и заверил пациентку, что бояться нечего. Та дернула плечами, ответила «наверное» и дальше — лишь бормотала под нос и сухо благодарила за предоставленный ящик для скарба. Может, распереживалась.

Жургин вечером накатил и по традиции делился в ординаторской впечатлениями от обхода. Когда в повествовании он добрался до Тимохиной, то воззрился на дежурную медсестру и сказал, что не понял ее восторгов. Она нелюдимая какая-то, поддержала главврача повариха и поведала, как новая пациентка отказалась от вкуснейшей сайры с вареными кабачками на ужин даже не словом, а одним брезгливым жестом. Другие врачи, которым довелось столкнуться с Тимохиной, тоже отметили непрестанное шевеление губ и безучастность взгляда. Валыч от суждений воздержался, заслонившись угодливыми хиханьками — в этот раз сработало. На каждое замечание в ее адрес он пытался придумать оправдание, пока, наконец, не поймал себя на этом занятии; оно вдруг сделалось до того нелепым и постыдным, что, сославшись на усталость, он отправился домой раньше, чем Жургин в своем рассказе вошел в 301-ю.

Утром, дождавшись подъема, Валыч завалился в палату к Тимохиной, чтобы разрешить собственные противоречия относительно нее. За ночь они успели настояться и забродить, собраться в отеках под глазами, которые было видно и на раскаленном лице. Фурцева храпела, морща лоб под тавром солнечного луча, а новенькая, укрыв ноги махровым одеялом, писала в блокнот. Валыч присел на край кровати и принялся подбирать зачин для беседы, но Тимохина сынициативничала, полюбопытствовав, не с обходом ли пришел. Нет, этим Сергей Викторович занимается, проговорил он и поспешил удержать внимание вопросом о самочувствии. Все хорошо, сказала Тимохина, а вы как? Валыч на автомате размашисто пошутил про косяк, споро извинился и спросил, что она пишет. Фантастику, сказала и резко дополнила: вы смерти не боитесь? Да нет, промычал Валыч в резонанс с всхлипнувшими пружинами койки. Тимохина продолжила допытываться: как вы со страхом справляетесь? Ну, я вроде врач, мне положено. Врачи же остро приближение смерти чувствуют. С чего вы взяли? Операции боитесь? Когда она? Четырнадцатого, завтра то есть. Ничего страшного не будет, уверяю.

В течение дня, когда Валычу случалось пересекаться с Тимохиной в коридоре, она с подозрением смотрела на него; тот глаз не отводил, но и не спешил вступать в разговоры — больно не хотелось успокаивать пациентку. В конце концов, Тимохина, которая валилась у двери палаты, обратилась с вопросом о вере в бога. Не положено, отшутился Валыч, но встречного не задал. Тогда Тимохина пустилась в объяснения, якобы религия и искусство — это способ справиться со страхом смерти, убедить себя в том, что после что-то да останется. Вам бы духовника позвать, батюшки сюда ходят, освящают по нужде, наставлял Валыч, а она продолжала: я вас как врача, который на границе посмертия существует, спрашиваю, что дальше? Да ничего: холод морозильника, а после жар печи, если родственники попросят. Тимохина, небрежно выбрасывая подбородок в сторону окна, вопрошала, за что там люди воюют, и себе же отвечала: за бессмертие. Валыч хотел возразить, мол, в бою-то погибают, но смекнул, что речь не о личном, а народном; мысль эта показалась ему занятной, и он справился, сама ли Тимохина до нее дошла. Нет, вычитала, но самостоятельно, что в контексте крайне важно. Дальше она тараторила с фанатичной быстротой, спотыкаясь и путая ударения; Валыч терялся в смычке клубов: было про бога и долг, необходимость поддерживать безупречность концепции и чистоту поступков. Жизнь по понятиям,

собирался шутить он, но вместо этого тупо спрашивал, не боится ли она умереть. Говорила, что не боится, но черт ее знает, по раскрасневшемуся от жары лицу не поймешь. Страх, говорила, притупляется верой, но не конвенциональной, а собственной — там истории интереснее и ярмо не столь тяжелое. Попробуйте, в итоге предложила Тимохина, придумайте пантеон.

На ежевечернем выступлении Жургина ее снова костерили — не один Валыч был целью для расспросов, но он один, похоже, не стал их избегать. Гулкая речь главврача, отороченная междометиями, растянулась по комнате; смешки и наблюдения коллег иголками вонзались в ее полотно, но проходили навылет. Жургин был слишком увлечен рассказом и очарован своим голосом, чтобы заметить, как вянет интерес слушателей; Валыч же, поглощенный собственной космогонией, пропустил и искусное интонирование под уличный гомон, и остроты. В голове вертелись (в порядке возникновения): изрытые глазами, как оспинами, колеса; косматые существа из металла, обтянутые кожей, с сосками, в ареолах которых башенными кранами вставали кривые ветки; скользкие облака с трясущимися, но цепкими щупальцами; громогласный и безгубый рот; проливные перья; секущиеся разломы; маслянистые капли и исступленный набат надо всем. Он говорил о том, что Валыч поступает правильно; истеричное в подаче послание было трепетным и нежным, успокаивающим и обнадеживающим; он не запрещал ругаться, пить, лениться, завидовать и врать, а оскорблений в свой адрес воспринимал снисходительно и с юмором. Валыч пока основательно не верил ни в него, ни ему, но это всего-навсего вопрос проработки, которой было решено посвятить часы грядущего ночного дежурства. Жертвуя и без того непродолжительным сном, Валыч старательно вытачивал мифы; кое-что стыдливо зарисовывал, но до написания псалмов не дошло. К рассвету у него были опухшие веки, уставшая от зева челюсть и общие представления об устройстве вселенной — ими-то Валыч и хотел побыстрее поделиться с Тимохиной.

Потом с улицы загрохотало; Валыч подходил к окну, высовываясь, насколько позволяло затекшее тело, и тщетно высматривал источник звука. На сумбурном утреннем совещании, куда многие почему-то не явились, напросился ассистировать в операционной, а Жургин, раздраженный хлопками и стрекотом, ломаться не стал: шум снаружи сводил его с ума и сделал уступчивым. Время до подъема Валыч коротал за дремотной полировкой мифа; далекий грохот мешал сосредоточиться, и часам к девяти уже окончательно доконал, поэтому к Тимохиной он пришел только потому, что так решил раньше — менять планы сил уже не было, равно как и рассказывать о своих выдумках. Зато он мог послушать ее фантазии: о разумных океанах; кремниевых червях-термофагах; лоснящихся гигантах и холодном лимфобульоне, которым они наполняют безжизненные оболочки. Это, конечно, было очень увлекательно, но Валыча еще на середине начало вырубать; дождавшись окончания, он поблагодарил Тимохину за откровение, деланно восхитился ее фантазией и отправился просить у Жургина разрешения прикорнуть перед операцией. Главврач не отказал, и изнуряющий слух шум превратился в сломанный убаюкивающий гул, стоило растянуться на диване в ordinаторской, где Валыч вскорости забылся.

Проснулся сырой и шалый, отодрал прилипшую к обивке рубашку, посмотрел на часы, которые показывали почти четыре дня, и рванул на третий этаж в операционную. С улицы по-прежнему барабанило и даже громче, чем раньше; Валыч на ходу кинул взгляд в окно, но ничего не увидел. Запыхавшийся, он ворвался в помещение и рвано извинился, на что Жургин отозвался неодобрительным бурчанием в маску. Тимохина уже лежала на столе под любопытно склонившейся, но пока еще слепой лампой; вы

---

*Даша Благова*

## Расскажите мне о змеях

*Рассказ*

Я бронирую переговорку, чтобы пережить это. То, что появляется внизу живота. Сначала это — как одна змея, скользкая и шершавая. Она размножается. Очень быстро, сама по себе, опутывает себя другими змеями. Сперва потихоньку, потом смелее, эти змеи кусают мой кишечник, желудок. Пухнут и жиреют, пожрав моей крови. Трахаются друг с другом и рожают новых змеенышей. Закрываю дверь переговорки нашего модно-московского бизнес-центра на замок и ложусь на пол. За непрозрачной дверью — офисное шебуршание. Кто-то открывает вино, потому что пятница и скороновыгод. Змеи откусывают кусок печени. Я сжимаюсь и давлю лбом в колени. Змеи начинают обвивать собой селезенку и легкие. Скоро все органы пляшут, скручиваются, кричат. Я знаю, что сейчас будет. Уже начинается. Дыхание дробится — быстро-быстро, как свежая морковь под острым ножом. Пошел звук. Из желудка, через горло, наружу. Всхлипывания, взбулькивания, я задыхаюсь. Дыхание есть, но нет кислорода. Слезы.

Через пятьдесят минут последняя змея выползает через рот. Внутри становится пусто, нет совсем ничего. Мышцы, кожа, кости желейные. Тело распрямляется, я растекаюсь по полу. Поворачиваю голову и смотрю на тараканисто-рыжий кирпич, из него сложен наш модно-московский офис, который раньше был мануфактурой, где мучились рабочие, зарабатывая гроши и артрит. Рука не моя, но я царапаю ею камень. Я пустая. В кармане вибрирует телефон. Это тетя. Алло? Сашенька, ты можешь говорить? Угу. Слушай, я не знаю, что делать, с мамой твоей что-то не то. А что такое? Она какая-то агрессивная. Что делает? Прогоняет из палаты, обзываются, кинула в меня бутылкой сегодня. После капельниц? Да, после капельниц. А, ну не расстраивайся, теть, в прошлый раз тоже так было, это пройдет, когда ее выпишут.

\* \* \*

В прошлый раз все началось так. У нас с мамой был хороший день, вторая половина декабря, мы ходили на рынок, чтобы купить подарки. Пришли домой, разложили диван и накрылись пледом. Телевизор не включали, потому что болтали. Я сказала ей, что в последнее время стала бояться будущего. Дочь, а ты не бойся, будущее к тебе доброе, мы с тобой вместе туда пойдем. Я бы не хотела расти, мне так хорошо под пледом. Плед никуда не денется, а расти интересно, честное слово.

---

*Даша Благова* родилась в городе Минеральные Воды, училась на журфаке МГУ, работала редактором в «Афиша Daily», публиковалась в журнале «Прочтение», литературно-художественном альманахе «Артикуляция» и др. Первая толстожурナルная публикация.

Потом пришел папа, мы ужинали. Обсуждали, что на Новый год придут друзья, а их сын — как раз мой лучший друг. Будем играть в фанты. Когда мама укладывала меня спать, мы почему-то снова говорили о взрослении. Она сказала, что это странно, что в мои тринадцать у меня до сих пор нет месячных, но ничего, проконсультируемся с врачом после праздников (я уже все знала про месячные, мне рассказала о них мама, так же, как и о сексе, ориентации и многом другом взрослому).

В то утро, которое было после того хорошего дня и хорошего вечера, я проснулась сама, хотя меня всегда будила мама. Папина половина дивана была пустой и смятой в одеяльное гнездо. Мама свесилась со своей половины и смотрела в таз. Внутри была жидкость, желтая, с кусками. Я села рядом с мамой: «Сейчас я это вылью». Встала, но она схватила меня за руку: «Не надо, я сама». Мама перенесла ноги с дивана на пол. Оттолкнулась, но диван притянул ее обратно: «Нет, я не могу». Я взяла таз, вылила, сполоснула, вернула. Мама наклонилась, из нее полилось — густое, с кусками. Я позвонила папе на его первый тогда еще мобильник, он ответил, сказал, что в часе езды от нас, в другом городе, за горой. Скоро будет. Мама уже лежала, ее рот, красивый, гладкий, как черешня, стал расплзаться вправо, как будто был сшит нитью, за которую сейчас кто-то потянул. Я позвонила в «скорую».

«Скорая» приезжала четыре раза. Четыре раза. Первый, пузатый, в синей форме и с чемоданом сказал: «Напилась. Отравилась». Вколол ей что-то. Вторая, мелкая, как третьеклассница, сказала: «Да съела что-то не то, надо желудок промыть». Я позвонила папе, чтобы спросить, где он. Он ехал в реанимацию — договариваться. Третья была высокой. «Девочка, где папа? Что вы нас дергаете?» Тоже что-то вколола. Четвертый был тот же, который был и первым. «Ну куда я ее повезу? В вытрезвитель?» Мама не разговаривала. Вообще. Мычала и иногда открывала глаза. Папа договорился. По стоимости это было как телевизор, который мы тогда не могли себе позволить. Ее забрали в реанимацию, мы с папой стояли в приемном покое. Вышел молодой, крепкий, какой-то «зав» или «зам». «Ты умница, — это он сказал мне. — Еще десять минут — и все. У мамы твоей инсульт, кровь в мозжечке. Иди, посмотри телевизор, я поговорю с папой».

\* \* \*

Проходит три дня, я снова бронирую переговорку на пять вечера, потому что в поплытого рождается первая змея, я ее чувствую. Мой муж про это знает, он сам видел. Когда я прихожу домой, бывает то же самое, но длится часа два или три. Он все время рядом. Змеи выплевываются. Он их не видит, но знает, что они там. Я выплевываю змей почти два часа подряд, муж обнимает, он рядом. Потом мы решаем называть это «истерикой», для простоты. Пью чай. Он спрашивает, как там мама. Я отвечаю, что хорошо, слава богу, это уже точно не инсульт, просто криз, еще две недели — и выпишут.

Утром я встаю с кровати и чувствую, что правая часть тела как будто висит. Мне больно. По венам и нервам справа бегают муравьи с острыми палками в лапках. С левой стороны все нормально. Это не проходит днем, на работе. Мне звонит бабушка, держу телефон левой рукой. У мамы твоей галлюцинации, я так переживаю, у меня сердце болит, я задыхаюсь, успокой меня, пожалуйста. Я успокаиваю ее, где-то полчаса успокаиваю. Телефон дрожит постоянно, это мне пишут по работе. Кладу трубку, — правая часть тела болит сильнее, теперь ее как будто обтерли спиртом и подожгли. Но я не чувствую змей. Ни одной. Даже змеиного яйца. Я не бронирую переговорку, заканчиваю работу и еду на такси домой. Не уверена, что дойду до метро. Правая нога тащится за левой. Ничего не говорю мужу, он же заставит идти к врачу, а я туда не ходок.

\* \* \*

Я ненавижу больницы, потому что это худшие места, худшие места из всех мест, и стали они для меня такими с тех самых пор, когда я зашла в палату на следующий

---

*Лада Сёмина*

## 29.4

*Рассказ*

**Фото № 17.**

В центре снимка высокий худощавый мужчина тридцати-тридцати пяти лет. На нем дорожные пыльные ботинки, черные брюки и белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Рукава рубашки запачканы чем-то красным. Выражение лица мужчины сосредоточенное, взгляд серых или синих глаз устремлен прямо в объектив. Правой рукой он опирается на спинку деревянного стула с зеленой обивкой, в левой руке держит пистолет.

Первое, что видит Яков, когда открывает глаза, — это цифры. Они красные и ненастоящие, потому что состряпаны из крохотных пиксельных квадратиков, электронного суррогата чего-то реального. Зато они яркие и делают больно заспанным глазам, а это лучший способ проснуться: через плиточные ноль шесть — ноль пять, а по выходным — один ноль — ноль один. Якову нравится думать, что цифры соревнуются между собой, пасуют и забивают голы, кто-то побеждает, и Яков всегда оказывается в нужной команде.

Яков любит цифры больше, чем буквы. Если честно, больше, чем многое, сильнее разве что его привязанность к гороховому супу с кусочками поджаренной «Докторской». Он заказывает суп в столовой на первом этаже офисного здания каждый вторник. Вторники Яков отмечает в рабочем настенном календаре оранжевым ромбом: выглядит как медаль. Ему нравится награждать вторники, поэтому до вечера он самый доброжелательный и отзывчивый человек в офисе.

Среда зеленая и зигзагообразная, как змея. Яков никогда не видел живую змею, но знает, что она похожа на лоснящуюся ленту и извивается. Обвивая среду изумрудной чернильной спиралью, он и сам немного извивается и пританцовывает. Обычно именно тогда в его кабинет кто-то заходит, поэтому по средам Яков хмурится, шикает и шипит.

Сегодня — четверг. Он наступил как обычно в ноль шесть — ноль пять, вспыхнув химической краснотой, сворованной из дешевого клубничного желе в стаканчике. Яков пролежал неподвижно еще двадцать минут. Первое, что он увидит, когда приедет на работу, — это зал заседаний. Сегодня — собрание.

---

*Лада Сёмина* работает контент-менеджером и иногда катается на электричках, пишет рассказы-короткометражки. Участница лонг-листа премии «Независимое искусство — 2019». Живет в Уфе. Это первая публикация автора.

Все собрания скучные и блеклые, поэтому четверг в календаре Яков никак особенно не помечает — он его просто зачеркивает. Самый нелюбимый его день. Неудивительно, что сразу после идет пятница, как утешительное поощрение, как хлопок по спине: мол, еще немного, и уже завтра проснешься от зеркально отраженных цифр. Яков считает, что это красиво.

Сегодня, где-то через полтора часа, цифры тоже будут, и разные: ряды цифровых соцветий напротив фамилий, пригвожденных чернилами к листу. Это коды: кто из сотрудников опоздал, кто вовремя не сдал отчет, кто нагрубил клиенту, а кто его обсчитал. Яков в офисе на хорошем счету — у него не только свой кабинет, календарь на холодной стене и набор разноцветных ручек, но и привилегия быть одним из тех, кто решает, чье нарушение можно стереть, не заметить, махнуть на него рукой, а на чье отреагировать штрафом или чем похуже. По слухам, сегодня намечается как минимум одно похуже. Яков выхватил взглядом красные цифры, присвистнул, мысленно отказался от завтрака и наконец встал.

#### Фото № 24.

На траве лежат два пушистых котенка, у них рыжеватая шерсть и белые мордочки. У котенка, что слева, между передних лап зажат маленький красный мячик. Глаза у него ярко-зеленые; второй котенок зажмурился.

Зал понятный — он круглый и вместительный. Стол прямоугольный, устойчивый и тоже понятный. Лампочки светят, мигают и гаснут, бумага шуршит, ручка оставляет отметины, а стулья скрипят и у них есть колесики. Все простое и объяснимое, с заданной функцией или формой, которую легко повторить или обозначить. Буквы — другое дело. Всякие, кучные и скучные, большие и маленькие, то с круглым пузом, то острые, как шпили. Все по-разному их пишут, и слова из них получаются разные, даже если, вообще-то, одни и те же — понять ничего невозможно. Яков и не пытается. Буквенный сумбур, словесная распущенность, текстовые шарады — все это не для его мира упорядоченных порядочных цифр. От этой кутерьмы у Якова болят глаза, устает голова и опускаются руки. Поэтому четверговые собрания его так огорчают и нервируют, как огорчает и нервирует ветер, дергающий занавески, или путаница в ящиках с бельем, или пленка на остывшем гороховом. Яков за порядок, смирный покой и понятные вещи. Поэтому согласился приходить на собрания, сидеть на скрипучих стульях и черкать бумагу размашисто — нажмешь посильнее и, глядишь, ручка-спичка салютует выброшенным в воздух пламенем.

Собрания тоже за порядок: в офисе, в коллективе, в градации документов внутри пухлых папок, разложенных на прямоугольном столе перед каждым занятым стулом с колесиками. Сверху — доносы, записки, характеристики, личные дела, а стеснительные объяснительные в самом конце. Они не мятые, не морщинистые от заломов, не запачканные чернильными пятнами — кажется, объяснительные здесь от чего-то трепетно берегут, поэтому их почти никто не читает.

Яков не читает точно. Да и все прочие бумаги из папок, испещренные неясными словами, тоже. Разве что повернит листок в руках, помусолит, выцепит цифры и числа, вспомнит, что зашифровано под каждым кодом.

В записке на Михаила из шумного помещения с перегородками — 3, 15, 14, 21. Пропустил рабочий день, не предложил клиенту допуску, повысил голос, раньше ушел домой.

В папке Анны из соседнего отдела — одни нули. Не вытягивает по показателям. В доносе на Раю с последнего этажа — 10, 10, 10, 10: только десятки.

Что означают десятки, Яков не знал. Но Рая сегодня сидит в центре круглого зала, и ее папка в стопке на столе последняя, нижняя, десертная. То самое «или что похуже» за этот четверг будет про нее. Яков заерзal, глядя на часы.

Через шестьдесят конвульсий минутной стрелки, выступлений по очереди и общего голосования папка Анны уплыла в шкаф для первых предупреждений, а папка Михаила — на стеллаж для лишения месячной премии. Осталась папка Раи и сама Рая — центр окружности и завтрашних офисных пересудов. Скрип и шорох играли в зале свою музыку, она расходилась волнами и отскакивала от Раиных острых — как у 7-ки — плеч. Яков считал про себя: десять, десять, десять, десять.

Человек через два стула от него приподнялся с места, став самым высоким объектом в зале, местной радиовышкой, фонарным столбом.

— Рая, мы благодарны, что вы не отказались присоединиться к сегодняшнему собранию. Не всегда такие дела проходят мирно и спокойно, к сожалению. Обязуюсь: мы учтем ваше содействие при голосовании. Итак, готовы ли вы ответить на несколько вопросов? Не хотелось бы сильно затягивать.

Рая кивнула. Листы сразу зашуршили пуще прежнего: захлопали то ли в ладоши, то ли бумажными крыльями. Яков уставился на чернильные десятки. Раньше он не видел такого кода.

— Известно ли вам, что со 197 года по новому-новому стилю информационное пространство составляет только один вид контента?

Рая смотрит на прячущихся за столом людей: ни на кого в отдельности, но на всех разом.

— Да.

— Известно ли вам, какой именно это вид контента?

— Да. Текстовый. Это тексты.

— Пожалуйста, ответьте на вопрос развернуто, чтобы мы могли оценить, насколько правильно вы понимаете то, о чем говорите. Что, по-вашему, может содержать текст?

— Слова.

— Только слова? А изображения?

— Нет.

— Аудиоряд? Видео?

— Нет. Только письменное начертание слов. Изображения, аудио, видео — ничего из этого сейчас не используется.

— Вы понимаете, что это общепринятое правило относится и к нашей с вами стране, городу, месту работы?

— Понимаю.

Рая держится за краешки стула рядом со своими ногами. Она все понимает. Она смотрит в лица, выжидает и хватается за сиденье, чтобы не сорваться. Интервьюер сел и снова сравнялся со всеми ростом, скрыв добрую часть туловища за глухой вытянутой деревяшкой.

— Хорошо, Рая. Коллеги, теперь обращаюсь к вам. Напомню, что наша сотрудница обвиняется в незаконном и, признаться, неуместном распространении одинаковых фотоснимков, распечатанных на листах формата А5. Передача визуального контента происходила через ящики для корреспонденции, установленные в пролетах между этажами. Письменная расшифровка изображения приведена в папке отдельным документом. Зачитываю:

*«На фотографии запечатлен деревянный мост над рекой, он выглядит старым и требующим ремонта. Вода в речке темная, небо пасмурное. На мосту стоит женщина в белом длинном платье с поясом. На ее голове светлая косынка, из-под которой выбилось*

*Aйгерим Тажи*

## Синий виноград

\* \* \*

Откуда всё пришло?  
Ладонь — складная карта.  
Тропа ведёт к себе.  
Проводишь по столу,  
и палец медлит на дорожке пыли.

На ней следы прозрачных муравьёв  
заносит, словно в крохотной пустыне.

Уронит иглы полинявший дождь —  
побьёт народ.  
В секретном месте сада  
запрятали сухой кусок земли.  
Все выжили, кто там.  
Другим зачем?

Другим — не надо.

\* \* \*

Бульдозеры раскапывают мир  
до дна а ниже дна как будто ад  
В тарелке сохнет синий виноград  
Я так рисую с детства — только синим  
Вот кошка расстаётся с взрослым сыном  
Его уносят в сумке на покой  
Запомнить цвет какой вообще какой  
конечно имя

---

*Aйгерим Тажи* — поэт. Родилась в Актюбинске (ныне Актобе). Автор книг стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004) и «Бумажная кожа / Paper-Thin Skin» (Билингва, Бруклин, 2019). Публиковалась в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (2003) и др. Живет в Алматы.

А ветер полумёртвый от жары  
пыльцо на аллергиков пылит  
Ни полотно ни обещавший лист  
движение к концу не остановят  
Не остановит падающий камень  
Подтягиваешь тело за руками  
лицом к лицу встречая двойника  
через пустую стену турника  
Что будет с вами?

\* \* \*

сверишись — дни растворились под пристальным  
полки разобраны книги прочитаны  
письма отправлены жизнь прожита  
ровно до той половины когда  
можно сидеть на скамейке под липою  
сеять живучее нежное выполов  
с бренностью примириться пока  
рядом котёнок рассерженно фыркая  
трогает лапой сухого жука

\* \* \*

Под парящими звёздами  
С верой в чудо  
На пустынные площади  
Вышли люди.  
С кем-то бог, а с другими  
Холодный космос.  
Тем и этим сложно.

Через счастье, украденное  
От боли,  
Через жизнь перебеленную,  
Отмоленную,  
Тянут руки  
Уверенно за дарами.  
А в карманах камни.

Верить сложно.  
Не верить — себе дороже.  
За чертой новый день,  
Пустопорожний —  
Неизвестно чем лучше.  
Пусть небо станет  
Океаном — потрогаешь, бросишь камень —  
И вода кругами.

\* \* \*

Сумрачный луг. Гаснут цветы.  
Слышно: трещит в раме окна  
Пленный кузнецик. Старец сидит,  
Ждёт на пороге сна.  
Тень подаёт знаки тайком:  
Пряча шаги, близится та,  
Что не проходит мимо. Легко  
И исчезает страх.  
Пледом накроет, выключит свет.  
Свой заберёт букет.

\* \* \*

долго идти в траве  
вспугивая насекомых  
сорванных анемонов  
обруч на голове  
высохнет станет жать

в небе искать стрижа —  
будет дождю примета  
песенка не допета  
в мертвенно синеве

в брошенном доме бога  
тело омыть и память  
в ливнях теней и света

спящие под ногами

птицы под потолками

# Дружба на варост

*Лёнька Сгинь*

**СДВИГ**

*Рассказ*

— А что с ней?

— Да вроде ничего такого, — Гоша отхлебнул из баклахи и поставил на пол. — Она мертвых видит, или вроде того. А так — нормальная девчонка. Я бы замутил, может, даже. Только...

— Только жестко послан! — Митяй выплеснул это, осклабив зубы с широкими прещелинами. Так он вечно выражал крайний восторг, сколько его помнил Влад. В такие моменты хотелось вдарить ему с ноги, чтобы повылетали эти проклятые зубья. Только никто не решался. Из-за болезни.

— Жалко, Митяй, что у тебя язва эта дебильная, — Гоша взял пачку Winston с подоконника. — Так иногда хочется...

— Только не можется! — опять осклабились зубы, и Влад не выдержал, треснул подзатыльника. Волосы вздрогнули на вытянутой орехом кешью голове, худая шея вжалась в плечи.

Все замолчали.

— Хорош, Владик, знаешь же, — Миха процедил это в стену, лежа на подъездных ступеньках. — Что с тобой вообще? Из-за этой, что ли? Как ее... блин. Гош, как ее?

— Лукерья...

— Да ты гонишь, нет, — Миха повернулся ко всем, поднявшись на локте. — Как-то... ну, типа... Ефросинья?

— Дуня! — промычал Влад. — Заколебали вы... причем тут она?! Просто Митяй гонит... гонит! Понимаете??

— Понятно, чего тут, — подтвердил Гоша. — Митяй гонит, а ты...

— А ты тормозишь! — Митяй вывалил оба ряда зубов и по-лошадиному заржал. Остальные молчали. Этот приступ смеха выглядел особенно болезненно, и Владу стало по-настоящему жалко парня.

— Ладно, прости, Мить. Наверно, надо мне побродить одному. В башке дурдом, — Влад соскочил с батареи, отряхивая джинсы. — И, кстати, она же не мертвых видит. Ты реально гонишь, Гош.

— А кого?

---

*Лёнька Сгинь (Панков Леонид Валерьевич)* родился в 1987 году в Долгопрудном Московской области. Печатался в журнале «Крещатик». Живет в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Хрен знает, — Влад пожал плечами. — Вроде будущее...

— А... ну, слушай. Иди, может, спроси тогда ее, — Гоша задымил и стал чесать свой широкий лоб шапкой, подбирая удачную шутейку, но махнул рукой. — Все, я бухой. Просто иди, раз не пьешь...

Влад кивнул и побрел вниз по лестнице. Через два пролета послышалось ржание сверху. А затем шум падения. Наверное, Митяй опять показывал, как умеет прыгать через перила. Чувствовалось, что дружеские посиделки оживились без одного лишнего. Без аппендицса, бросившего недавно пить из общей баклахи. Да и вообще. Пить.

На улице еще было светло, но мороз стоял дубовый. Влад помедлил пару минут, размышая, не вернуться ли, не сбросить ли эти гребаные десять рублей, чтобы приложитьсь к общему горлышку. Оно, конечно, очень хотелось. И, может, вернулся бы. Но тут, как по заказу, прошла она. Дуня. И он решил последовать недосказанному совету друга. Двинул за ней.

Дуня шагала быстро, кивая головой, как птица. Чтобы ее догнать, пришлось ускорить шаг. От этого забрякали ключи в кармане куртки. Влад пытался придержать их, но девушка обернулась:

— Чего трезвонишь, Буратино? На поле чудес спешишь? — она скользнула по его фигуре взглядом, а затем отвернулась и ускорилась еще. Теперь Влад созерцал Дунин профиль и то и дело опускал взгляд ниже по ее драповому пальто. Слова и без того не находились. А очертания девичьего тела, двигавшегося под пальто, вообще сбивали с толку. Да еще эти нелепые пятнистые угги. Они вконец разрушали мозг.

— Погоди-ка, — сообразил он. — Это ты меня так дураком назвала, что ли?

— Ух ты-ы-ы! — изумилась Дуня. — Начитанный-то какой. Может, и стихи знаешь?

Голова ее, с лицом распаренным и веселым, стала крутиться по сторонам, будто она искала, где бы поклевать хлебных крошек или просыпанное пшено. И если б не пухлые губы и не ямочки на щеках, и не этот нос, очерченный клювиком ласточки... В общем, если б он не был парнем, то от этого преследования отказался бы. «Точно, сдвинутая», — понял Влад. И побежал:

— Мой небосклон и чист, и ясен! И полон радужных картин, — теперь ему было жарко, и слова вырывались излишне громко. — Не потому, что мир прекрасен! А потому что...

— Ты один, — закончила девушка, и в глазах ее мелькнуло что-то прорицательское, грустное. Она двигалась широкими шагами наравне с бегущим Владом. Розовощекая, с выбившейся из-под шапки с помпоном прядью. Ее хотелось поймать и не дать улететь.

— Ты... такая... — Влад не решился сказать «красивая» и добавил о другом. — Там немного не так, в стихе.

— Зато стало похоже на жизнь. И ты вроде не кретин.

— Спасибо...

— Родителям скажи спасибо. О! Вот же! Эй, Косая! Я чуть не задубела тебя искать!

В конце дома стояли крохотная девушка и высокий кудрявый парень в очках. Она что-то сказала ему и, кивнув, пошла навстречу Дуне. Влад взгляделся. Эта девушка училась в техникуме, как и он. Только на девчачьем факультете бухгалтеров. Всегда ходила одна. Видимо, Дуня была ее подругой, но осталась учиться в школе. И по утрам ходила совсем в другую сторону.

У крохотной девушки были чуть косые глаза. Это особенно считывалось, когда

она смотрела в сторону. А она как раз косилась на Влада. Зато все остальное у нее было ангельским. И даже прозвище «Косая» не могло этого испортить. Влад чувствовал, что это уже перебор для одного дня. Втрескаться дважды. В джинсах становилось тесно. Почему-то от этого стало зябко.

— Приветы! — девушка кивнула дважды. — Дуняш, а твой упырь дома?

— До-о-ома, — отозвалась подруга в какой-то своей особенной манере, вроде бы на деревенский лад, но с певческой округлостью.

Услышав про домашнего упыря, Влад ссгутился и собрался свалить, но цепкая ладошка остановила его. Косая тут же отпрыгнула, когда он обернулся на ее прикосновение:

— Ого, как ты посмотрел! Прости, мне не стоило, — косые глаза зигзагами поползли в ноги.

— Ты гонишь, что ли? — гоготнул Влад и тут же осекся. Это дурацкое слово «гонишь», как какой-то паразит, вечно вылетало невпопад. И сейчас показалось особенно неуместным.

Помолчали. Потом Дуня гоготнула, очень похоже изобразив Влада, и обхватила подругу за талию. Крошечные ноги поднялись над заледенелым тротуаром.

— Сама мелкая, а сиськи на крепкую тройку, — неожиданно констатировала Дуня. Косая покраснела и, кажется, стала еще меньше:

— А ты же с Гошей-регбистом тушишь? — поинтересовалась она у Влада, возвращаясь на землю.

Влад неопределенно кивнул, и все трое двинули вдоль дома. Потом прошли через бывшее летное поле, ежась от ветряных укусов, и попали в старый город с мрачными трехэтажками. За все время девчонки перекинулись только парой слов. И поначалу Владу было неловко от их молчания. Он даже открыл рот, чтобы продекламировать еще какой-нибудь идиотский стишок, но вовремя хлебнул морозного воздуха и заткнулся.

Меньше всего ему хотелось знать, куда они идут. Хотелось просто идти рядом.

— Может, в подъезде немного потусим? — предложила Дуня. — А то так окуклиться недолго. У меня, кажется, уже борода растет от всего этого говна...

«Ты гонишь!» — едва не вылетел смешок у Влада, но тут с крыши сорвался ледяной осколок и шарахнулся ему прямо по носу. Девушки увидели это и забеспокоились, поторопились внутрь старого дома. Влад, потирая нос, удивлялся такому удачному стечению обстоятельств. Казалось, само прорицание помогает ему расстаться с девственностью в этот вечер. Волей-неволей юношеские мысли потекли именно в это русло.

В старом подъезде пахло плесенью.

— Я Лукерья, кстати, — представилась Дуня, усаживаясь на подъездный подоконник.

— А я думал, Дуня... у тебя же еще прозвище такое... прости, может, ты не любишь его.

— Ага, Ведуня. Потому и Лукерья. Хрен с чем срифмуешь.

— А ты реально будущее видишь?

— Блин, такие вещи неприлично спрашивать! Ну да, разок получилось кое-чего. Сказала одному болтуну технарскому, что его матери надо сдать анализы срочно. Я их на улице встретила. Он особо не поверил, а через месяц подошел и сказал, что у мамы рак яичников, третья стадия. Но это и так понятно было. Без анализа. Просто внимательнее посмотреть ей в лицо.

# Публицистика

*Юрий Каграманов*

## Время (и бремя) чёрных?

*О новом витке расового вопроса*

Готовит новые удары  
Рой пробудившихся племён.

*Владимир Соловьёв*

Строки, вынесенные в эпиграф, взяты из стихотворения «Панмонголизм», где речь идет об угрозе, исходящей со стороны желтой расы. Угроза эта сохраняется и сегодня, но характер ее радикально изменился: вряд ли она имеет что-то общее с призраком монгольских орд времен Батыя. Угроза в другом: желтые опережают белых на путях приземленно-логического мышления — отсюда их успехи в науке и технологии. Там, на далеком Востоке, сегодня «дышил интеграл» (это уже из А.Блока).

Но другая угроза обозначилась: белой расе по-своему грозит черная.

«Негр поднимается с колен». Это действие, назовем его так, можно разложить на четыре эпизода. Первый из них — так называемое Гарлемское возрождение. В конце 10-х — 20-х годов Гарлем в Нью-Йорке стал центром движения чернокожих за психологическое «возвращение в Африку». Пока что оно ограничивалось музыкально-танцевальной частью. Наступал «век джаза» (сложившегося, заметим, не без влияния европейского мелоса), как его назвал Скотт Фицджеральд. Джаз покорил американцев, а за ними и европейцев; так же, как и новые ритмические танцы — ту-степ (Яшка-артиллерист в кинофильме «Свадьба в Малиновке» демонстрировал сельчанам некое подобие его), фокстрот и так далее. К тем годам относится замечание Честертона, что франты, отплясывающие чарльстон, скоро начнут чернить себе лица. Фигура негра становилась в глазах белых культурной величиной. Но это по-прежнему был негр-забавник, усовершенствованный вариант кривляки Джима Кроу, каким его знал старый Юг (даже знаменитый Луи Армстронг, по-своему обаятельный, вписывался с некоторыми поправками в образ Джима Кроу). Культурный «вес» негра пока ограничивался сферой развлечения.

Впрочем, не совсем так. Тот же Фицджеральд дал тонкое определение джаза: это состояние нервной взвинченности, похожее на то, что воцаряется в городах при приближении к ним линии фронта.

Следующий эпизод переносит нас в Париж 30-х годов, который был тогда, как и прежде, «лабораторией инноваций». Группа чернокожих франкоязычных поэтов, в которой ведущими были Эме Сэзер и Леопольд Сенгор (будущий президент Республики Сенегал), выступила с идеологической концепцией «негритянства», иначе *negritude*. Эти поэты поставили мироощущение негров выше мироощущения европейцев. Негры чутки к голосу крови, к воспарениям земли, которую они ощущают «теплыми стопами», а европейцы, «всезнающие и наивные победители», по выражению Сэзера,

выстроили себе культуру-тюрьму, из которой даже при желании не могут вырваться. *Негритюд* претендовал на то, чтобы стать универсальной философией; задача негров, писал Сэзер, в том, «чтобы ассимилировать (европейцев. — Ю.К.), вместо того, чтобы быть ассимилируемыми».

Успеху *негритюда* способствовало поражение, которое потерпела европейская цивилизация в Первой мировой войне (независимо от того, кто там в военном отношении выиграл и кто проиграл). Идеалы «прогресса» оказались полузатоплены в море крови, пролившейся на полях жесточайших за всю человеческую историю сражений.

Успеху *негритюда*, даже среди белых, способствовал и тот факт, что он был отчасти созвучен некоторым течениям европейской мысли и искусства, поднявшим на щит интуитивизм, в частности «философии жизни» А.Бергсона (ценившего «жизнь» выше и материи, и духа) и особенно сюрреализму с его сновидческими изображениями окружающей жизни. Основоположник сюрреализма Андре Бретон назвал Сэзера и Сенгора «великими лириками современности». Поэты *негритюда* указывали, однако, и на то, что отличало их от европейских художников: у тех сюрреализм шел от личного поиска, а у негров это была коллективная интуиция, растворяющая личность в племени.

Доверие к интуициям низшего порядка можно объяснить некоторой высущенностью, избыточной заземленностью христианства в повседневном обиходе; лишенное мистики, лишенное «безумия», оно перестало «держать души». Это относится и к энтузиастам *негритюда*, и к художникам сюрреалистического направления, которых Гуго фон Гофмансталь, сам из породы декадентов, метко назвал «больными орлами».

В защиту *негритюда* выступил Жан-Поль Сартр в своем знаменитом эссе «Чёрный Орфей». Чёрные, писал Сартр, пристыдили белых, указав им на их «неполноценность». Подобно античному Орфею, спустившемуся в царство Плутона, чтобы увести оттуда Эвридику, чёрный поэт спускается внутрь себя, чтобы открыть там некую глубину. И что он там находит? «За пожаром объятых пламенем слов (негритянской поэзии. — Ю.К.) нам открывается великий идол, чёрный и немой». Здесь, между прочим, верно указано на религиозное измерение эстетики *негритюда*. Чёрный и немой идол наводит на мысль о том идоле, которому поклоняются последователи *буду*, — дикого, анимистического культа, абсорбировавшего некоторые элементы христианства, искусственно к этому культу привязанного.

Можно в данном случае согласиться и с Дмитрием Быковым, усматривающим (в стихотворении «Бремя белых»)

....в чёрном лице идола  
Самой природы лицо незрячий.

Возвратимся в Америку. Энтузиасты *негритюда* мало интересовались политикой, полагая, что искусство важнее политики. Но политика требует своего. В 60-х годах в стране развернулась борьба за гражданские права негров, в которой широкое участие приняли как чёрные, так и белые. Борьба была праведной и в общем довольно успешной. Достойный вклад в эту борьбу на сей раз внес Голливуд, выпустивший ряд фильмов («Осквернитель праха», «Скованные одной цепью», «Не склонившие головы», «Посмотрите, кто пришёл» и другие), убеждающих, что чёрный — такой же человек, как и белый, нередко даже лучше белого. К концу 60-х с расовой сегрегацией практически было покончено, даже на Юге.

Но недаром говорится: дай человеку волю, он две возьмет. В негритянской среде появились агрессивные группы, которые, не довольствуясь успехами в борьбе за расовое равенство, стали устраивать мятежи и погромы. Ветер принес боевой клич из

Африки. В начале 60-х нигерийский писатель Воле Сойинка (лауреат Нобелевской премии по литературе за 1986 год) выступил с резкой критикой *negrityoda*. С его точки зрения, Эме, Сенгор и их единомышленники проявили слишком большую лояльность в отношении *francité*, французской культуры (Сенгор, между прочим, стал одним из «бессмертных», членом Французской Академии). *Negrityod* слишком увлекся словесами, но теперь пришло время действовать. Тигр, писал Сойинка, не заявляет о своей «тигристости», он просто прыгает на своего противника и загрызает его. Свою позицию Сойинка обозначил, созвучно с *negrityodom*, но в пику ему, как *tigrityod*.

Призыв был услышен за океаном. Самая заметная из негритянских экстремистских группировок взяла себе имя «Чёрные пантеры». Пантера — вроде тигра, но тигр полосат, а пантера одноцветно черная и потому скорее подходит на роль символа для агрессивного «негритянства». Но «пантеры» тогда еще не нашли достаточно широкой поддержки среди негритянского населения и спустя энное количество лет были разогнаны полицией.

В 2013 году уроненное знамя «пантер» подняло движение BLM (black Lives Matter, «Чёрные жизни важны»). Так начался последний пока и, похоже, роковой эпизод «поднятия негра с колен». *Negrityod* парижской выделки еще владеет умами черных интеллектуалов, но его оттесняет «брутализм», каковой демонстрирует BLM, а также близкое ему по идеологии и по степени революционного оголтеления Антифа, называющая себя анархо-коммунистическим движением. В порядке курьеза можно назвать еще одну организацию — «Восстание мавров», требующую от правительства США (!) компенсации за то, что мавров изгнали из Испании в конце XV века.

В составе самого движения (BLM) и сегодня, по некоторым прикидкам, каждый третий — белый или, если угодно, «белый негр». «Новые сны веры Павловны», как выразился автор русскоязычного журнала «Kontinent. USA», овладевают их воображением.

В среде сочувствующих белых есть, вероятно, и такие, кто искренно, по-христиански — даже в отдалении от христианства — сочувствует неграм, болеющим за своих попавших в рабство предков (довольно уже далеких). Но тут к месту привести суждение Честертона: добродетели, выпавшие из христианства, — одичалые и порою вредоносные еще более, чем пороки.

BLM изначально возглавили три черные женщины (привет феминисткам!), которые заявили о себе, как об «образованных марксистках». Трудно представить, чтобы эти разбитные тетки штудировали «Капитал» или «Ницшею философии»; вероятно, они воспринимают марксизм примерно так же, как воспринимал его Чепурный в платоновском «Чевенгуре», который, читая «Капитал», «ничего не понял», но «что-то чувствовал». Что можно почувствовать, читая Маркса? Или, спросим иначе, какие чувства внушает Маркс своим читателям? Ну, во-первых, праведный гнев (против капитализма и капиталистов), но с ним вместе злобу против всех мыслящих и чувствующих хотя бы чуть-чуть иначе. О.Сергий Булгаков писал, что Маркс «заколдован злобой» и все его учение — инфернальное восстание против Творца и его творения.

Подобно русским и любым другим марксистам, BLM демонстрирует «отщепенство» от национальной истории и, если воспользоваться выражением П.Б.Струве, «секулярную неотмирность».

В точном соответствии с Марксом, BLM грезит о мировой революции; начавшись в Соединенных Штатах, она должна выплыть за их пределы. Для чего уже создана пропагандистская сеть, охватившая страны на всех пяти континентах.

Казалось бы, марксизм дискредитирован всем опытом Старого света, отчасти и Нового, но, как видим, выходят на арену истории новые поколения, запутавшиеся в марксовой бороде. Как это и прежде случалось, идеи Маркса в новой среде подвергаются рефракции. Не классовая борьба объявляется движителем истории, но расовая борьба.

# Культурный слой

*Олеся Николаева*

## «Россия, Лета, Лорелея»

*Два портрета из будущей книги*

ПОЭТ И КРАСАВИЦА:  
«МОЛОДУЮ ДОГАРЕССУ СТАРЫЙ ДОЖ ВЕДЁТ»

*Семён Кирсанов*

### 1

Что-то такое мне недавно приснилось, и я, проснувшись, полезла смотреть ударение в слове «танцовщица». Ну да, конечно, на «о»: танцОвщица! У меня так и было в стихотворении, которое я написала лет в пятнадцать:

Так танцуй же, танцуй же, танцовщица,  
Дрессировщица собственных ног!

Просто я некогда понесла свои стихи, в том числе и «Танцовщицу», «на суд» к Семёну Кирсанову, с которым дружили мои родители, и он сказал:

— Неплохо. Только ударение — танцовщица».

А если танцовщица, то сразу размер другой — все стихотворение ползет, а оно как раз мне нравилось своей дактилической рифмой. Короче говоря, я его взяла и выкинула. И уже ничего не помню, кроме этих двух строк. И вот, проснувшись поутру и все еще держась за обрывок сна, глянула: нет, все верно. Ошибся Семён Исаакович. Но в целом он меня одобрил, похвалил и написал рекомендацию в Литературный институт — в те времена туда нужны были две такие рекомендации членов Союза писателей, а иначе стихи на творческий конкурс не принимали.

Когда он меня похвалил, его жена Люся — потрясающая молодая красавица, которая, собственно, эти литературные смотрины и организовала, воскликнула:

— Надо выпить за это шампанского! Кирсанов, я в Смоленский сбегаю, пока вы тут будете разговаривать!

Это была ее идея, чтобы Кирсанов меня послушал и сказал мне нечто как мэтр, как эксперт, как классик, но при этом она предупредила:

— Будем жестокими реалистами — он может быть и нелицеприятным. Он может начать яриться и выгнать вон! Будь готова и к жесткому его суждению.

Я, конечно, затрепетала. Но все повернулось иначе, и Люся надела оранжевое полупальто букле (явно парижское, таких при советской власти ни у кого не было), вытащила из-под воротника длинные золотые волосы и убежала.

А потом мы сидели втроем в кабинете Кирсанова, и я, как взрослая, пила шампанское и принимала участие в разговорах о поэзии, любуясь и дивясь. Было на что любоваться! Во-первых, Кирсанов, признанный поэт, младший современник Маяковского, сам такой красивый старик, словно сошедший с французского киноэкрана. Люся — я уже говорила — ошеломительная красавица, каких не бывает. И к тому же она красавица веселая и экстравагантная, у нее, выражаясь словами Заболоцкого, и «сосуд» изысканнейший, и «огонь, мерцающий в сосуде» волшебный.

Однажды (это уже было в другой раз, у нас дома, когда разошлись все гости), она врубила звук проигрывателя, скинула туфли, и мы с ней полночи отплясывали самозабвенно и лихо. На меня, подростка, это произвело впечатление, я навеки ее полюбила. И отрастила длинные волосы, чтобы хоть немного быть похожей на нее.

Итак, я любовалась. И кабинет был достоин восхищения. Во-первых, письменный стол. Покрытый зеленым сукном, старинный, с резными барьерчиками, вставками, бортиками и яичками. Картины! Пирожки! Французские импрессионисты!

Обои, шторы, лампы, кресла... Бокалы, из которых мы пили... Такое невиданное в советское время эстетство, художественный вкус, парижский шик. Кирсанов так расслабился и умилился, что стал читать нам новые стихи. Написанные ромбом: «Бреду в ад». И «Эти летние дожди». А я попросила его прочитать «Мери-наездницы»:

Мери красавица  
до конца.  
С лошадью справится.  
Ща-ца.  
Водит конторщица в цирк отца.  
Лошади фыркают: «фырк!» «ца-ца!»

Сказала, что хочу послушать, как это звучит. И он — прочитал!

Ваньки да Петьки в галёрки прут,  
Титам Иванычам ложу подавай.  
Только уселись — начало тут как тут.  
— Первый выход — Рыжий! Помогай!

Мери на бок навязывала бант,  
Подводила чёрным глаз,  
А на арене уже джаз-банд  
Рыжий заводит — раз!..

Ну вот. Так что танцовщица все-таки! Но выброшенного стихотворения мне совсем не жалко. Особенно после его «Мери-наездницы».

## 2

С Кирсановым мы тоже отплясывали, аж искры из-под каблуков. В мрачные годы безвременщины бурно веселились, пили, танцевали, пели, ездили друг к другу — можно было среди ночи сорваться в гости из гостей «на чашечку кофе»: все были друг другу рады. К моим родителям так заваливались их друзья да еще и со своей компанией после полуночи — кстати, Люся Кирсанова часто, да не одна, а со свитой, с подругами, с Татьяной Самойловой, например, или с Татьяной Лавровой. Выхожу я как-то ночью на кухню, а там у нас Смердяков (артист Валентин Никулин) как ни в чем не бывало пьет из банки с солеными огурцами рассольчик. Это его режиссер Инна Туманян привезла. Слышен ее обаятельно-глуховатый голос.

Семён Исаакович, конечно, не мог в этихочных путешествиях угнаться за своей красавицей-женой. Он звонил нам, отыскивая ее, и почти всегда находил.

— Кирсанов, — говорила она, переняв лексикон самого Семёна Исааковича, — не ярись! Не говори ерунду! Да, я сделала этот жест! Я готова бросить вызов этому миру! Ну что мы будем, как шерочка с машерочкой...

И она с раздражением кидала трубку, а он опять звонил, и там была какая-то драма, страсть, полыхал огонь, а ведь он был уже старик, к тому же безнадежно больной: все знали, что у него рак горла. Он любил, ревновал, страдал, умирал, бился со смертью, с воображаемыми соперниками, со всем, что могло разлучить его с Люсей, и писал трагические пронзительные стихи:

...Через дымную завесу  
(где разбитый дот)  
В тыл, к расстрелянному лесу,  
Мокрый «Додж» идёт,  
Парень держит пулемёт,  
Дождь идёт, дорога к лесу.  
Молодую догарессу  
Старый дож ведёт. <...>  
Он прижал к лицу ладони,  
Мокрые от слёз.  
Донна Лючия — в короне  
Солнечных волос.<...>  
Боже, свадебное ложе —  
Тот же эшафот!  
Додж идёт. В Палаццо Дожей  
Хлещет пулемёт. <...>  
С Моста вздохов по дороге,  
Оскользясь об лёд,  
Поседевший, одинокий,  
Старый дож идёт.

...Так он и шел со своей Люсей — Люси. Маленький, но величественный в своей седой шевелюре, безупречно элегантный, он вводил ее в партер, в зал ресторана, в комнату, где уже собирались гости, сам на полшага позади, и гордо оглядывал всех, словно желая прочитать на лицах восхищение: то вдохновенное «ах!», с которым встречали их появление. И церемонно раскланивался со всеми.

«Молодую догарессу старый дож ведёт!»

### 3

Как-то раз речь у нас с Семёном Исааковичем зашла о поэтическом переводе. Он сказал, что в поэзии есть такое вещество, которое почти неуловимо. Оно растворено в самом языке. И если можно перевести с одного языка на другой смысл, метафору, образ, то это вещество в переводе надо воссоздавать заново. Поэтому, прибавил он, у нас хорошо переведен Бодлер, с его зрывыми образами, и так плохо Верлен, которого вернее было бы переводить по звуку, по составу воздуха в стихотворении.

И вот я, учившаяся в то время французский язык, стала читать Верлена в оригинале и сравнивать его стихи с переводами.

Например, вот это стихотворение «Chanson d'automne». («Осенняя песня»).

Les sanglots longs  
Des violons  
De l'automne  
Blessent mon coeur  
D'une langueur  
Monotone.

Tout suffocant  
Et blême, quand  
Sonne l'heure,

## Литературный барометр

Евгений Абдулаев

### Не премиальте

Некоторые колхозы учредили литературные премии, в иных совхозах работали авиамодельные и конноспортивные секции.

*Борис Штейн. Уходит век*

Их много. Их очень много. Их настолько много, что можно уже составлять по ним справочник; он будет толстым и увесистым. Но составлять его никто не будет: это неинтересно и бессмысленно.

В титрах какого-то старого советского фильма (30-х годов) после имени одного персонажа стояло: «Орденоносец». Звучало гордо. В начале 80-х, когда я этот фильм смотрел, это вызывало только усмешку. Орденов научреждено и навручено было уже столько, что они не означали почти ничего. За исключением, может быть, нескольких, вроде «Золотой Звезды» героя. Они хоть что-то еще значили.

То же самое случилось сегодня и с российскими литературными премиями.

В девяностые премий было немного. Возможно, именно столько, сколько и должно быть. Были традиционные журнальные премии. Был «Русский Букер». Был созданный в пике ему «Антибукер». Были Премия Аполлона Григорьева, литературная номинация «Триумфа», Премия Андрея Белого. В самом начале нулевых добавились еще две, жанровые: Белкина и Казакова.

Все это что-то значило. Пусть не так много: в конце концов, главное — текст, а премии и прочие аксельбанты — так, для «встречи по одёжке», краткой строки в сведениях об авторе. И все же «лауреат “Русского Букера”» как-то звучало. «Лауреат премии журнала “Знамя”». «Лауреат премии имени Юрия Казакова».

Звучит ли — и как — это сегодня?

Были тогда, конечно, и какие-то локальные: премии местных союзов писателей (журналистов) или имени местных литературных знаменитостей. Некоторые — вполне достойные, вроде питерской «Северной Пальмиры». Но все это помещалось во втором, третьем ряду. Ощущения премиального перепроизводства не порождало.

Бурным потоком премии хлынули где-то с середины нулевых. Под конец 2000-х все оказались лауреатами чего-нибудь. Одной, двух, четырех премий. Писатели и поэты стали ходить, издавая неслышное позывкивание, как медале- и орденоносцы брежневских времен. (У меня самого такой «пиджак с висюльками» в шкафу.)

В 2010-е литераторы уже не довольствуются ролью пассивных получателей. Зачем ждать, если можно самим засветиться в роли «раздатчика слонов»? И закатав рукава принялись за дело.

Литература наполнилась премиализмами.

Только за последние год-два премий возникло с десяток. Обзавелись своими премиями журналы «Воздух» и «Юность» (соответственно — «Вавилон» и премия

Катаева). Обе, правда, заявлены не как журнальные, а как «вообще». Впрочем, «Вавилон» уже получила постоянная авторесса «Воздуха» Лиза Юсупова. Почему бы нет? Дело не в *кто*; дело в *зачем*.

Не отстают и сетевики. Не успел просуществовать и пары лет телеграм-канальный «Метажурнал», и — тоже уже, ура, со своей премией. И страсти вокруг нее кипят нешуточные.

Особенно старательно обкладывается новыми премиями молодежь. Национальная молодежная литературная премия, учрежденная Роскультцентром. «Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьев» для молодых поэтов. Еще и «Цикада» для них же. Притом что молодежный «Лицей» тоже никуда не подевался; продолжает торжественно вручаться.

Не то чтобы между ними не было никакого различия. По имени советского поэта-песенника в названии одной из них легко догадаться, какая поэтика ею будет поощряться. «Коллективный есенин / провинциальных сборников» — как написал когда-то Алексей Колчев. Точнее, «коллективный дементьев»... А «Цикада», судя по большинству текстов ее финалистов, — это такой «коллективный драгомошенко»... И тоже по названию премии можно было предвидеть. Довольно неприятное на вид, если кто встречал, насекомое, издающее громкий скрежет. Но дело опять же не в этом. Пусть хоть цикада, хоть муха-цокотуха. Проблема в том, что всё это дикое размножение — действительно, с какой-то насекомой скоростью и плодовитостью — литературных премий обесценивает сам этот институт. Остаются буквально несколько премий (вроде звезд Героя), которые еще имеют не отдельно-взято-тусовочный или отдельно-взято-провинциальный вес. Не в последнюю очередь, благодаря своему «стажу», превышающему хотя бы десять лет.

Уточню. Премия обязана жить долго. Пусть даже вырождаясь, закостеневая, впадая в легкий маразм, как нынешняя Нобелевка. Но — долго: возраст премии (как и журнала, фестиваля, любого другого литературного института) крайне важен для ее репутации. Американской Пулитцеровской премии — более ста лет; другой, Национальной премии США в области художественной литературы — более семидесяти. Gonkovskaya премия скоро отметит свое 120-летие. Ведущим итальянским премиям — «Багутта» и «Виареджа» — тоже почти по сто лет.

У нас же премий все больше, и живут они все меньше. Особенно возникшие в 2010-е. «Нонконформизм» — девять лет. «ЛитературРРентген» — семь. «Белла» — пять. «Различие» — пять.

Нет, премии с коротким пробегом бывали и прежде. «Антибукер» просуществовал шесть лет, Премия Аполлона Григорьева — восемь. Но они хотя бы затевались основательно: с прописанным уставом, с серьезным жюри, с солидным матобеспечением...

Из названных же выше основательно, насколько могу судить, делалась только российско-итальянская «Белла». «ЛитературРРентген» возник в качестве «вишенки» на торт одноименного фестиваля (и тихо исчез вместе с ним). А «Различие», вообще, как заметил Дмитрий Кузьмин, было учреждено «“на коленке”, чисто приватным образом»<sup>1</sup>. Так, «на коленке», недолго и просуществовало.

Впрочем, и солидный премиальный фонд сегодня тоже уже никого особо не впечатляет. У премий-близнецов «Поэт года» и «Писатель года» (тоже, разумеется, «национальных»), учрежденных — официально — Российским союзом писателей, а фактически — «Стихами.Ру» и «Прозой.Ру», фонд очень даже неплохой. Улучшает ли это их репутацию?

---

<sup>1</sup> Кузьмин Д. От различия к различию // Сайт «Colta.ru». 13 марта 2013 г. (<http://archives.colta.ru/docs/16167>)

Остается надеяться, что нынешнее премио-изготовительное безумие вскоре склынет. Само. Как исчезло размножение литературных альманахов в 1820-е, над которым иронизировал Пушкин. Как склынула эпидемия отмечания литературных юбилеев, высмеянная Леонидом Андреевым («Всероссийское враньё»). «В настоящее время юбилейное дело поставлено так широко...»

И широко поставленным премиальным делом тоже переболеем.

Усталость уже ощущается. Ворчат критики. «Премий стало нынче много: за стихи, за прозу, за драму, за критику, даже за открытый рот» (Сергей Морозов, 2019)<sup>1</sup>. Задумались книгоиздатели. Задает вопрос на своей страничке в ФБ Юлия Селиванова «в связи с медиаданными для магазинов»: «Насколько сейчас вообще продает книгу блерб “Лауреат такой-то премии”? И почившего в том числе, например, “Русского Букера”?» (18 июня 2021 г.). Судя по ответам, не очень-то продает.

Литературные премии — кто спорит? — нужны.

«Вообще-то уже хотя бы по нынешнему писательскому безденежью и издательскому потоку, в котором все тонет, — дело полезное. С обесцениванием — согласна. Вопрос экспертизы и критериев», — написала Наталья Игрунова, когда мы обсуждали тему этого «барометра». Да. Нужны и как навигатор, и как поощрение, как инструмент структурирования литературного поля. Вопрос не в них самих, а в *количестве*. Которое обессмысливает качество.

Премиальное поле можно было бы частично «разгрузить» за счет развития института литературных стипендий, — о чем я писал почти десять лет назад («Знамя», 2012, № 1). Как это, опять же, давно и достаточно успешно делается в других странах. Но стипендии дело длинное, хлопотное, скучное. А скучать у нас не любят.

Так что подождем, когда все премиотворцы, наконец, натешатся и наиграются. Пока же предлагаю, в духе Маяковского, создать и вручать ежегодную литературную премию всем организаторам литературного дела, удержавшимся от создания литературной премии. С большим жюри, большим фондом и большим литературным обедом. С обязательной речью лауреата, как он мучительно боролся с желанием создать еще одну литературную премию. И как это желание в себе победил.

---

<sup>1</sup> <https://voplit.ru/column-post/o-literaturnyh-premiyah/>

## Подробное чтение

Андрей Пермяков

# Постапокалипсис без апокалипсиса

**Юлий ГУГОЛЕВ. Волынщик над Арлингтоном: 2019—2020. — М.: ОГИ, 2020.**

Совсем недавно, 22 мая 2021 года, фотограф и обозреватель Алексей Наседкин написал в своем блоге по поводу вечера, состоявшегося в Сахаровском центре: «К своему стыду, я вообще не знал, что Гуголев пишет стихи. Да еще такие убойно-талантливые, с довольно сложными строфическими конструкциями. Видел его только как гастрономического обозревателя на ТВ. В общем, обязательно почитайте»<sup>1</sup>. Тут впору было б вспомнить шутку начала века про блондинку и Макаревича: мол, этот телеведущий еще и песни поет? Только не хочется. Тем паче, Андрей Макаревич тоже участвовал в том вечере.

Подойдя к делу серьезно, можно посетовать на фрагментарность пейзажа и сбой всех фокусировок, когда даже заинтересованный, не чуждый поэзии человек, разбирающийся в ритмических конструкциях, коллега Юлия Гуголева по медицинской стезе, блогер<sup>2</sup>, интересующийся разными аспектами современного искусства, весьма странно отражает роль автора в актуальной культурной ситуации. Притом — автора, только что получившего весьма значимую и даже нашумевшую премию «Поэзия».

Но лучше вспомним другое: формальный дебют Гуголева, состоявшийся двадцать лет назад благодаря книге «Полное. Собрание сочинений», дебютом в полном смысле не был. Автора к тому времени хорошо знали, журналы публиковали его стихи более десяти лет, и сборник лишь зафиксировал литературную состоятельность поэта. Спустя шесть лет вышли «Командировочные предписания», получившие большую премию «Московский счёт», еще через четыре года — весьма замеченный критикой «Естественный отбор», а после наступило книжное молчание на десять лет. То есть автор не старался мелькать в медийном пространстве. Скорее, наоборот.

Зато в 2019—2020 годах Юлий Гуголев выпустил сразу три новинки. Собрание палиндромов, озаглавленное «252»<sup>3</sup>, мы на сей раз оставим вне пределов рассмотрения, а две другие книжки прочтем внимательно. Особенно, конечно, свежайшую: «Волынщик над Арлингтоном». Но сначала обернемся во времени чуть назад.

Нечастый выход книг, не слишком регулярные публикации в «Журнальном зале» давали возможность внимательного наблюдения за текстами поэта и фиксацией перемен. Думаю, не для одного меня очевидными те перемены стали с выходом стихотворения «Не дверцу шкафчика, но в целом Сандумы...»<sup>4</sup>. Именно за него

<sup>1</sup> <https://nasedkin.livejournal.com/2442563.html>

<sup>2</sup> Само по себе понятие «блогер» имеет, согласимся, странный статус, хотя по некоторым версиям, этот подвид деятелей культуры уже лет десять как стал наиболее влиятельным среди прочих.

<sup>3</sup> 252 / Художник Олег Добровольский. — М.: Воймега, 2019.

<sup>4</sup> Юлий Гуголев. «Не дверцу шкафчика, но в целом Сандумы...» — «Интерпоэзия», 2015, №3.

Гуголев несколько позже получил премию «Поэзия», но дело не в этом. Дело в том, сколь интересно новый текст сразу и взаимодействовал с одним из самых известных стихотворений автора «Папа учил меня разным вещам...», и существенно контрастировал с ним. По этому поводу я написал отдельную заметку<sup>1</sup>.

Вкратце ее содержание было таковым: и мир советского детства, и последующие эпохи всегда представляли в стихах Гуголева изрядно перекошенными, но все искупала совершенно раблезианская витальность, дававшая премногие надежды к исправлению сущего. В рецензии на самую первую книгу поэта Данила Давыдов писал: «Лирический герой Гуголева — тело, но это тело лишено каких-либо низких значений, оно самоценно и самодостаточно»<sup>2</sup>. А много позже Мария Ватутина сказала, что о войне Гуголев говорит «...через непрятязательный диалог оставшихся в живых косноязычных хмельных дембелей, недобрым словом вспомнивших товарища, отлынивающего от застолья... А о жизни и смерти через полную физиологическими подробностями историю про выезд наряда "скорой помощи" к старушке, к которой, казалось бы, автор и не собирается вызывать сочувствие... А получается из этого: баллада о хрупкости мира и неразумных воинственных детях этого мира (Что тебе еще надо? Что вам/ всем еще надо?! Какой защиты?); ностальгия сына по отцовскому присутствию в жизни; рассказ о телесном пребывании человека на земле; горькие слезы над безвестной умирающей мученицей и ее беспомощными и не менее несчастными лекарями. Здесь усматривается следующий прием: желаемого смысла и эффекта автор достигает через обратное, через заземление повествования...»<sup>3</sup>.

Соответственно, стихотворение «Папа учил меня разным вещам...» Ватутина в той же рецензии весьма точно охарактеризовала как попытку «вырастить колосок путем вытягивания ростка из земли»: мол, папа допускает педагогические ошибки из слишком косных убеждений и чужих установок, однако ошибки те не фатальны и вообще — жить можно. В «Сандунах» же весьма неприятно выглядит сама условная «земля». То есть человеческая почва, откуда проиразстают отношения и взаимодействия. Дело, упаси бог, не в физическом убожестве. Оно нормально, стандартно, нестыдно. Стыдной вдруг делается система общения, построенная на обмане, практически не осознаваемом носителями этого общения, людьми, весьма близкими лирическому герою — хотя бы по праву родства:

<...>  
они сидят на влажных простынях,  
раскинувшись, как баре на санях,  
рвут плавничок, сдувают пену ловко  
среди багровых и счастливых рож.  
— Эй, Юликатый, ты чего не пьёшь?  
И дед Аркадий, тяпнув «Жигулёвского»,  
знай себе крякает. И миром правит ложь.

Половинка строки из этого стихотворения дала название следующей книге Гуголева: «Мы — другой»<sup>4</sup>. Естественным было искать в сборнике развития мыслей и общего настроя, возникшего в тексте про знаменитые на всю Москву общественные бани, однако все оказалось иначе. Настрой «Другого» вполне соответствовал устоявшейся стилистике Гуголева. Разумеется, с нюансами, обертонами, развитием. Но это были, скорее, перестроения из ряда в ряд, чем резкий поворот. Мир все так же изобиловал странноватой пищей и детскими бедами — в том смысле, в каком все беды детские.

<sup>1</sup> Андрей Пермяков. О двух стихотворениях Юлия Гуголева. — «Вопросы литературы»: «Лёгкая кавалерия», 2021, № 1.

<sup>2</sup> Данила Давыдов. Немоты полночное пение. — Vesti.ru, 30.05.2020.

<sup>3</sup> Мария Ватутина. Переворот: О поэзии Юлия Гуголева. — «Октябрь», 2008, №3.

<sup>4</sup> Юлий Гуголев. Мы — другой. — М.: Новое издательство, 2019.

# Книжный развал

*Ольга Бугославская*

## Без анестезии

В конце восьмидесятых, когда вновь открыто заговорили о сталинском терроре, ожидалось, что общество ужаснется и предпримет все усилия к тому, чтобы обезопасить себя от подобных угроз в будущем. Но реакция была, как принято говорить, неоднозначной, никакого решительного осуждения не последовало. Теперь, спустя тридцать лет после распада СССР и шестьдесят пять — после ХХ съезда, сформировался запрос вовсе не на очищение и самозащиту, а на так называемое примирение со своим прошлым. Попытки такого примирения выражаются в нескольких расхожих идеях: жертв террора было не так уж и много, в основном советский народ жил вполне счастливо; не все жертвы были безвинны, многих наказали за дело; народ заплатил высокую цену, но зато построил индустриально развитую страну — и так далее. В литературе этот тренд проявился в целом ряде произведений, которые предлагают публике свои варианты утешения. То промелькнет мысль о том, какой прекрасной была идея воспитания нового человека и как интересны и сильны были люди, воплощавшие ее в жизнь (роман «Обитатель»). То возникнет тема вины, которая якобы лежала на самих жертвах репрессий и настоятельно требовала искупления (роман «Авиатор»). То страшная жизнь в ссылке окажется всего лишь продолжением не менее страшной жизни в патриархальном доме (роман «Зулейха открывает глаза»). Большую роль в создании комфортного мифа о прошлом сыграла и старая-добрая сказка про «любовь, которая

преодолевает все преграды». Так что в целом картина сталинских лет получилась вовсе не безнадежной. Именно эта утешительная и духоподъемная нота во многом помогла снискать всем этим произведениям популярность. Недавно вышедший роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота» — книга совсем с другой полки. Автор не оставляет никакого места для приятных заблуждений и незаметного ухода в сторону.

Виктор Ремизов один за другим разрушает успевшие укрепиться бастионы. Первый из них — представление о том, что сталинская власть была пусть и крайне жесткой, но зато сугубо рациональной и эффективной. Все события в романе разворачиваются на фоне грандиозного строительства Великой Стalinской Магистрали: «Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по Полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея. Все ресурсы, вся тьма стройматериалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народно-хозяйственными планами по годам, выделены идвигались, стекались со всей страны к месту назначения». В качестве рабочей силы использовались преимущественно заключенные. Стройка имела колossalный размах и успела съесть огромный объем ресурсов и финансовых средств. Но погоня за показухой привела к тому, что строительство стало быстро превращаться в потемкинскую деревню, возводимую лично для вождя: «Ленточки разрезали, ура прокричали, шапки в воздух, в Москву рапорт: проложены первые километры по нехоженой тайге!.. Замерзли болота, сверху и положили! И ни один проектировщик никогда

---

*Виктор Ремизов. Вечная мерзлота: Роман. — Владивосток: Рубеж, 2021.*

не посмеет сказать правду». Сразу после смерти Сталина стройку сначала законсервировали, а потом полностью остановили и бросили. Иллюстрация весьма наглядна: система управления страной при диктаторском режиме постепенно настраивается на достижение одной-единственной цели: угодить тирану, и ее задачей становится имитация успехов.

Что же касается рационализации действий ОГПУ — НКВД — МГБ и внутренней политики Сталина, которая, собственно, и действует как успокоительное лекарство, то она рассмотрена в романе на двух уровнях: государственном и личном. От имени государства здесь говорит сотрудник органов. Его тезис хорошо известен и весьма популяррен: в России иначе нельзя. Сталину «надо было управлять огромной страной! Необразованной, никогда не знавшей, что такое самодисциплина! Что такая ответственность за себя, за свое поведение! Страной, завистливой к чужому богатству, ленивой, живущей в грязи и впроголодь, совсем не знающей высокой культуры! Как только можно было ей управлять? Только страхом! Веками барин управлял розгами, и другого ничего русский мужик не знал и не хотел понимать! ...Хозяин, как опытный врач, вводил точечные дозы страха! В одну отрасль, в другую! Небольшие, чтобы не забывались!» По признанию того же спецслужбиста, держится такое устройство не столько на карательных органах, сколько на готовности большинства населения пожертвовать меньшинством «ради общего блага». Такое понимание вещей, ставка на дикость и отсталость порождают фатальный порочный круг: страна, толком не знавшая законов прежде и вновь управляемая с помощью грубой силы и страха, не развивается, а еще глубже погружается в беззаконие.

На персональном уровне реализация этой установки подробно описана на примере двух главных персонажей: отыскавшего двадцатипятилетний срок геолога Георгия Горчакова и молодого енисейского капитана Александра Белова. Это, собственно, и есть те люди, управлять которыми, по мысли офицера МГБ, можно только розгами.

Горчаков — когда-то заслуженный геолог, доктор наук, а к моменту начала действия уже бывалый зэк, человек, внутренне сломленный и давно поставивший на себе крест. От внешних проявлений отчаяния его спасает

что-то вроде душевного наркоза, в который он смог сам себя погрузить. В Москве у него осталась семья — жена и двое сыновей. Будучи уверенным, что никогда больше не вернется на свободу, Горчаков принимает решение порвать все связи с родными и пишет жене письмо, в котором просит забыть о нем и по возможности выйти замуж за другого. Трижды судимый Горчаков свой первый срок получил, когда наверху решили, что свою порцию страха должны получить геологи — разработчики рудных месторождений в Норильске, которые буквально только что считались героями труда и авангардом строителей коммунизма. Совершенно произвольно была отобрана группа «вредителей», внутри этой группы так же произвольно были назначены «инициаторы» и «исполнители», а затем, как в лотерее, розданы приговоры — от десятилетних сроков до высшей меры. Горчаков в доверительном разговоре рассказывает об этом Белову: «— На суде меня назвали членом фашистской террористической организации и обвинили во вредительской деятельности по сокрытию месторождений полезных ископаемых. Всё обвинение держалось на показаниях одного человека, мы с ним даже не были знакомы. Он оговорил многих, на очной ставке ни говорить, ни стоять не мог, только кивал, его всего тряслось — страшное было зрелище. ...Суд надо мной занял меньше десяти минут. ...Мне дали десять лет, а девять человек из шестнадцати были расстреляны. Расстрелянные ничем не отличались от приговоренных к срокам, я не знаю, почему убили именно их...»

Жизнь или смерть — орел или решка.

Но самый тяжелый груз в романе ложится на плечи второго главного персонажа — капитана речного буксира Сан Саныча Белова. С ним связаны две ключевые темы книги. Во-первых, его опыт позволяет показать читателю цену фатальных заблуждений и нежелания признавать очевидное. Работая на Енисее, встречая заключенных и ссыльных, зная об их судьбе, прямодушный и наивный капитан Белов тем не менее долгое время остается верным сталинцем, верящим в гений вождя и величие его целей. Эту веру укрепляет высокая правительенная награда, врученная Белову в Москве. Все меняется, когда он сам оказывается в застенках тюрьмы, где его бесчеловечно унижают и пытают, выколачивая признание в участии в выдуманном заговоре

и принуждая дать обвинительные показания на близких и дальних знакомых. «Вечная мерзлота» — трудное чтение. Автор погружает читателя в воссозданную им реальность и медленно проводит по всем кругам ада, через допросы, издевательства, угрозы, избиения и инквизиторские пытки, давая отчетливо понять и представить, как должен был внутренне меняться подвергшийся всему этому живой человек. И главное — писатель не дает забыть о том, что и допросы, и пытки, и надругательства не преследовали никакой иной цели, кроме масштабной фальсификации. От верховной власти исходил запрос на разоблачение крупных заговоров — органы откликались и спешно надували еще один огромный пустой пузырь-симулякр. Пустой, но при этом пожирающий людей.

Во-вторых, история капитана Белова в качестве одного из элементов включает в себя архетипический фаустианский сюжет, хорошо помогающий осмыслить реальную жизнь сталинских времен. Белов проходит через отказ от сделки с дьяволом, то есть от сотрудничества с органами в качестве стукача. Этот отказ превращает его в объект особенно жестокого и мстительного преследования. Существенно, что к отказу он приходит через первоначальное согласие, продиктованное все той же наивностью и нежеланием признать черное черным. Он попадает в сеть незаметно для самого себя. Никакого отчетливого момента выбора в его жизни не было. Выбор между ролью доносчика и неминуемой гибелью встал перед героям романа позже, когда он уже был в лапах сатаны. В этом романе человек, сталкиваясь со злом, не видит всей картины, не отдает себе отчета, с чем имеет дело, и от этого его положение становится все страшнее и опаснее. Герои Виктора Ремизова часто оказываются в абсолютно безвыходном положении, когда нет большего и меньшего зла, когда беспросветное зло окружает их со всех сторон.

Теперь о спасительной любви и ее силе. Напомню: у Горчакова в Москве осталась жена с детьми. Белов влюбляется во француженку по имени Николь, которая по недоразумению оказалась среди ссыльных из Прибалтики. Обе женщины проявляют и настоящую любовь, и нечеловеческую стойкость, и героическую решительность. Но обе истории любви в романе — это трагедии. Из длинной череды

потрясений, потерь и несчастий все герои, и мужчины, и женщины, выходят настолько изломанными, обессиленными и искалеченными, что их финальное воссоединение выглядит робким проблеском счастья на фоне тотального торжества злого и упрямого абсурда над нормальной жизнью.

Действие романа охватывает последние годы сталинской эпохи. С нашей сегодняшней точки зрения может показаться, что людям тогда должно было потихоньку становиться легче, поскольку период террора подходил к концу. В романе же мы видим, что каждый день стоил кому-то жизни. Один из финальных эпизодов романа — кровавое подавление лагерного бунта: «И тут загрохотали пулеметы. Горчаков вздрогнул от неожиданности. Со стен лагерных бараков летела щепа, звенели и сыпались окна. Стреляли с вышек и с крыш домов дивизиона охраны... Пулеметы легко прошивали стены, людям было не спрятаться». Так что нет, легче не становилось. Тирания — такая болезнь, которая может только усиливаться.

Какой изображена в романе прижизненная судьба «врага народа»?

Человек, не только не виновный, но во многих случаях заслуженный, сделавший что-то для всех очень полезное и важное, выхватывается железными когтями из привычной жизни и отправляется в пыточную. Там из него выбивают признания собственной вины, а также показания на кого-то из знакомых или даже вовсе не знакомых ему людей: цепочка террора не должна прерваться. Его семья, даже оставшись на свободе, тоже оказывается в положении «врагов» со всеми вытекающими последствиями. Если обвиняемому везет, то пройдя через пытки и «суд», он отправляется не к стенке, а в заключение. Но условия заключения таковы, что живые подчас завидуют мертвым.

Какова же посмертная судьба такого человека, что о нем говорят и думают потомки?

А потомки либо тоже посматривают на него с подозрением, либо отворачиваются, либо искренне не замечают. Ради собственного спокойствия и сохранения позитивной картины мира новые поколения, глядя в прошлое, продолжают себе лгать. Но это уже проблема новых поколений. Однажды их взгляд в прошлое может оказаться взглядом в собственное будущее, а дальше — кому как повезет. Орёл или решка.

*Дмитрий Артис*

## Жизнь в обратную сторону

Новое поколение авторов постепенно берет в руки формирование современного литературного процесса. Близкие к преклонным годам примеряют статус свадебных генералов. Пятидесяти-плюс-минус-летние отходят на задний план и, забившись в свои собственные миры, преимущественно с иронией наблюдают за суевийской жизнью молодых, обреченных стать в будущем такими же никому не нужными, как они сами. В лучшем случае, такими же, как сидящие во главе стола нынешние свадебные генералы, в общем-то, в силу возраста далекими от современной поэзии. Печально, конечно. Тем не менее все это жизнь, бесконечно повторяющая себя, копирующая порой не самое лучшее, но все же прекраснейшая, волнительная и для каждого из нас — единственная. А вот бы повернуть ее в обратную сторону. Стремиться к будущему, а к прошлому.

Иван Купреянов — выпускник бакалавриата (2009), воспитанник литературной студии Елены Исаевой и Леонида Костюкова — вошел в пул «Журнального зала» с подборкой стихотворений в красноярском журнале «День и ночь» в 2015 году. В том же году был награжден литературной премией «За верность слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, а уже в 2021 году как закрепление успешного продвижения в литературном пространстве у него вышла именная подборка стихотворений в журнале «Дружба народов». Стоит отметить также, что этим летом Иван был удостоен, наверное, самой престижной (и дорогой, что естественно) литературной премии для молодых авторов (до 35 лет) — «Лицей» имени Александра Пушкина. Успел вскочить

в последний вагон, что называется. В следующем году он уже не прошел бы даже в номинанты. По причине возраста.

С книгами все тоже очень хорошо — не частит, но и не отстает от коллег по цеху: «Априори» (2010), «Перед грозой» (2014) и «Стихотворения 2010-х» (2020). На последней книге хотелось бы остановиться чуть подробнее.

В комплиментарном предисловии Елена Исаева, зацепившись за первое предложение первого стихотворения книги — «Я — древность...», характеризует авторскую «мудрость» эпитетом «эмоциональная». Здесь я бы поспорил, чтобы хоть как-то увлечь читателя. Даже не с тем, что мудрость сама по себе скорее уравновешенна, выдержанна и спокойна — на грани синхроничности и холодности, чем «эмоциональна», а с тем, что вообще можно применить слово «мудрость» к автору, который в тридцатилетнем возрасте называет себя древностью. Впрочем, это не столько попытка придраться к Елене Исаевой, сколько желание отметить нескончаемость юношеского максимализма Ивана Купреянова. Именно он — юношеский максимализм — с недавних пор привлекает меня в авторах нового поколения. Наверное, потому что его очень мало. Устаешь от прокачанной продуманности, сегментации лирических текстов, будто авторы относятся к ним точно так же как «эффективные менеджеры» к продуктам рыночной экономики — заранее предполагают и просчитывают свою аудиторию. Лирика ведь на то и лирика, что она неподконтрольна разумению. Со всеми остальными эпитетами предисловия тысячу раз согласен, даже порой казалось, что Елена Исаева снимает их у меня с языка: «Нет "умственной запрограммированности" текстов, лишающей их поэтического обаяния, есть свободное дыхание, несмотря на

---

*Иван Купреянов. Стихотворения 2010-х: Стихотворения. — М.: Изд-во «У Никитских ворот», 2020.*

сложную систему образов, легкую игру символами, говорящую о человеке начитанном и владеющем искусством разговора с собратьями по перу — в проброс, непринужденно...»

И это всё — притом что Иван Купреянов, как шепчут биографические справки, занимается еще и продюсированием: он один из основателей арт-проекта «Мужской голос», автор (совместно с Эдуардом Бояковым) серии спектаклей «Сезон стихов» на третьей сцене МХАТ им. Горького. Но в этом «продюсировании» мне видится все тот же юношеский максимализм и пока еще горячее желание быть на вершине литературного (да какого угодно!) процесса, нежели продуманность и рассчитливость «эффективного менеджера». Чего греха таить, сам в годы своей беззаботной молодости занимался тем же. Каждому возрасту свои привязанности.

Совершенства не нужно. Смотри,  
как прекрасна по-своему  
на засохшую ветку надетая майка воды.

Прекрасно, по-моему, да?

Книга «Стихотворения 2010-х» — это почти двести страниц плотных текстов, с кондака не осилишь. Есть перебор и неумение автора отфильтровывать лишнее. К слову сказать, было бы лучше, если бы год в названии был написан словами, а не цифрами. Цифры — удел бухгалтеров, сводящих дебет с кредитом. В словах было бы больше лирической составляющей, показывающей попытку преодоления условного рубежа и авторское желание выйти на новый этап, уровень... Подведение итогов, а не выступление на отчетно-выборном собрании.

В безымянные воды плывёт именной теплоход —  
просто мысль, метафора,  
запись в моём дневнике.

Стихи датированы: число, месяц, год. Дневниковое построение книги. Только не от прошлого к настоящему, а, наоборот, от настоящего к прошлому. Жизнь в обратную сторону. От автора, которого мы видим сейчас, к автору, который был на десять лет моложе.

Кто не понял, уже ничего не поймёт.  
Кто нам выстроит прошлое, если не сами?

Сейчас: разговор о себе через местоимение «я», порой даже «мы» — от лица всех. Всё тот же нескончаемый юношеский максимализм и подача авторского «я» как центра вселенной. Десять лет назад: рассказ о себе через местоимение «ты», будто обращаясь к кому-то другому, рассказывая о ком-то другом:

Настаёт расставаться момент.  
Обнимаешься с каждым.  
Обещаешь увидеться и не жалеешь похвал.  
Говоришь, говоришь, говоришь.  
Говоришь аж до жажды.  
А потом понимаешь, что кто-то тебя обокрал...

Получается, что на сегодняшнем этапе у Ивана Купреянова появилось больше смелости. Исчезла мальчуковая стеснительность. Уже не прикрывается вымыщенным персонажем — каким-нибудь Карлсоном, который умер, или Бобо, которая мертва, — когда говорит о наболевшем. Это, пожалуй, самая важная и значительная деталь, если отмечать взросление автора. Опять же, есть страх, что уже близко к перебору, что автор в скором времени начнет «загоняться», но будем надеяться, что этого не случится.

Карлсон умер. Сегодня хороним.  
Озорной человек-вертолёт.  
Карлсон умер, какая ирония:  
тот, который на крыше — живёт.  
/.../

Самолёт в небесах над погостом  
тянет белую-белую нить.  
Да. Спокойствие, только спокойствие,  
как любил кое-кто говорить.

В остальном, как мне показалось, стихи за десятилетний период одинаково ровные, обаятельные, чисты и наполненны. Детальность, близкая к прозаическому повествованию, восхищает. Множество отсылок и неявных намеков на классические образцы отечественной да и мировой литературы.

То ерунду выдавали замуж,  
то хоронили постмодернизм.

Мир, который видят автор и в котором автор живет, богат на предметы, события, персонажи. Лишен повторений. Дыхание текстов глубокое, даже можно сказать, глубин-

ное. Общее настроение: разговор по душам после очередной рюмки на брудершафт со случайным попутчиком. Автор не садится на вдруг понравившийся звук и не пляшет от него (или за ним), как многие сейчас любят. Все больше по существу, по делу, без «вокруг да около». Хотя «вокруг да около» тоже хватает, но это, скорее, относится к «экспозиции», к декорациям текстов, к антуражу, в котором были бы понятны передаваемые читателю мысли, эмоции, чувства.

Стихи предполагают читателя. Но здесь не

сегментация аудитории, о которой я говорил чуть выше. Другое. Адресность, подкрепленная точной датой, будто тем самым дающая ключ к расшифровке имени человека или события, которые вызвали к жизни то или иное стихотворение. К примеру, в апрельских текстах обязательно встретим Гагарина, как дань Дню космонавтики. Даты видятся мне финальной точкой каждого стихотворения. А если опираться на построение книги — «жизнь в обратную сторону», — то зачином.

*Дмитрий Стакхов*

## Мемуары романиста

Практически каждый писатель в какой-то момент творческой карьеры испытывает желание поделиться с читателем своим опытом. Тем, что видел, что слышал, что пережил. Историей семьи, тем, что происходило с родственниками. Собственно, такое желание свойственно очень многим. Кто-то ограничивается лапидарными байками под рюмочку, кто-то и в самом деле испытывает сотни страниц тем, что невозможно читать. Писателю же проще — в силу своей профессиональной оснащенности — сделать это так, чтобы вызвать интерес у читателя.

Конечно, делился он и прежде, в прозе: «рассказ автобиографичен», «роман основан на реальных событиях, произошедших с автором в 18.. году, в Баден-Бадене». Иногда делал он это подсознательно; даже как бы против воли в его текстах, романах и повестях проявлялись воспоминания прошлого, скрытые мотивы, потаенные желания. Проявлялись через устойчивые образы, характеры. Иногда, не лукавя, писатель искренне удивляется, если кто-то указывает на

отчетливую связь между персонажем его романа и, скажем, его двоюродным братом, известным автогонщиком, химиком, бизнесменом.

Авто-фикшн — отнесем подобные писательские мемуары к этому жанру, но на термине вовсе не настаиваем, — вызывает особый интерес как у читателей, так и у критиков. Особенно если повествование преимущественно посвящено детству и юности. Становлению личности.

Таковы «Секретики» Петра Алешковского. Именно — «секретики». Больших секретов — а они несомненно, как у всех, имеются, — Алешковский не раскрывает.

Опыт у многих читателей «Секретиков» совпадает с опытом Алешковского. Не буквально, конечно. Ясли, детсад, школа, пионерский галстук, первая любовь, неуспеваемость по физкультуре. Нам любопытно, что и как происходило у тех, кто тоже прошел эти ступени. Мы соотносим наш опыт с похожим опытом человека известного, владеющего словом, писателя.

Автобиографическая проза обладающих опытом другим — даже если она представляет собой точное и четкое, без вымысла, изложение событий, — нечто иное. Если же говорить об

опыте уникальном, можно сказать — экстремальном, — то он воспринимается всегда как художественная проза, причем эффект её усиливается при возрастании простоты изложения, как минимум внешней бесхитростности. Поэтому воспоминания воспитанного волками или автобиографическая проза Ежи Косинского (вот уж у кого экстрем так экстрем) — совершенно иной жанр. И — возможно, это будет совсем банальным утверждением, — ночем интереснее писатель, чем образнее его язык и чем сильнее его романический дар, тем сильнее и глубже будут его мемуары.

Вот только важно отметить — с автобиографической прозой последнее время что-то происходит. Она захватывает всё большее пространство. Нон-фикшн, куда автобиографическое формально можно включить, теснит фикшн. Причем на фоне сжимания фикшн нон втягивает в себя близкие жанры, прорастает в те, где раньше царствовал вымысел. Хотя следует иметь в виду, что проверить авто-автора на правдивость чаще всего не представляется возможным. Да и не нужно. Даже если он вольно обращается с широко известными фактами, главное, чтобы делал это красиво. Такому прощаются неточности.

Собственно, «Секретики» — это подробное описание детства и отрочества, пришедшихся на 60—70-е годы прошлого века и бывших для автора исключительно безмятежными и счастливыми. Детали иногда даны с легкой иронией. Например, мемуарист пишет о своем рождении, упоминая особый шик факта появления на свет в знаменитом роддоме им. Грауэрмана на Арбате, где в те годы — в конце 1950-х — родилось подавляющее большинство нынешних московских знаменитостей (не пора ли выдавать ордена «Рождённый на Арбате» как минимум нескольких степеней), и отмечает, что присоединиться к соискателям ордена ему не удалось — его рожали на Пироговке. Или пишет о том, как его укладывали спать в коляске, стоящей во дворе Третьяковской галереи (где работали дед и бабушка, искусствоведы), и в коляску залезал местный кот, громким мяуканьем сообщавший, что ребёнка следует перепеленать. Дальнейшее, наполняясь собственными ощущениями и видением, позволяет автору сделать вывод, что «детство — наш потерянный рай, лишенный одной из главных составляющих времени — прошлого, которое незаметно, но упорно

наполняет кладовые памяти». И что мы, «повзрослев, обретаем прошлое <...> Без такого осмыслиения невозможно по-настоящему научиться страдать и противостоять страданию».

Свои «Секретики» Алешковский наполняет предельно точными, живописными деталями. Всё, что он описывает, выпукло, зrimо, главное, — со знанием дела. Почему-то вспоминается сильная вещь Алешковского «Жизнеописание хорька», где детали жизни странного, пугающего персонажа даны с такой подробностью, что начинаешь думать — автор не просто знает то, о чем пишет, он в этом живет, его знание сопряжено с действием. Так и в «Секретиках». Алешковский пишет о грибах, и читатель понимает — это не городской собиратель, сомневающийся над каждым грибом, — не ядовитый ли? Автор видит и знает цветы, птиц, деревья, чувствует природу, а это в наше время становится редкостью; знание, почерпнутое посредством идентификации снимка в смартфоне — не в счет. Причем знание автора демонстрируется не напоказ, он никак не стремится поставить себя над читателем. Поэтому в тех местах, где мемуарист пишет о древних рукописях, археологических находках и археологии как таковой, о рыцарских доспехах и оружии — это отдельная страсть автора, — он, обладающий профессиональным знанием, выстраивает отношения с читателем на равных. Хотя профессиональный археолог, в «мемуарном» времени ездивший в археологические экспедиции, вполне мог встать в позицию ментора. Однако повторим: складывается впечатление, что подлинных секретов, глубинных, оказавших формирующее личностное влияние, в книге нет.

Там же, среди секретиков, и внутренний протест против занятий музыкой, когда, уступив настоениям отца (это очень трогательный образ в тексте), будущий мемуарист идет на прослушивание к отцовскому другу, музыканту и композитору — на самом деле он ни за что не хотел бы променять жизнь во дворе на каждодневные занятия виолончелью: «Мы до одурения резались в пинг-понг...»

Повторим, что секретов глубинных, оказавших формирующее влияние, в книге нет. Возможно, потому что автор неставил перед собой такой задачи — поделиться потаенным, а возможно, потому что Алешковский просто более закрытый человек, чем другие мемуаристы.

Впрочем, того, что «рассекречено», по Алешковскому, достаточно. Там ровно столько, сколько в игре в секретики, ныне, видимо, канувшего в Лету занятия по созданию коллажа из накрытых кусочком стекла важных предметов, расположенных в одном закладчику известном месте, тщательно при этом замаскированном.

Иногда память подводит Алешковского. Хронология сбоят. Вот он описывает экскурсию с классом в Петрищево. «Подвигами пионеров-героев нас так перекормили, что все их терпеть не могли. <...> Под дождем со снегом около петрищевского монумента было скучно и неуютно, про подвиг Зои все уже тысячу раз слышали и читали в учебнике. Мы переминались с ноги на ногу и тихонечко пели: «*Hey, teachers, leave those kids alone!*» Знакомое очень многим состояние, особенно прошедшим испытания идеологизированной советской школой. Вот только действие происходит в начале 1970-х, за несколько лет до того, как Роджер Уотерс из Pink Floyd начал в 1976 году работать над этой песней (*Another Brick in the Wall*, точнее — второй её частью) для знаменитого диска *The Wall*, выпущенного в 1979 году.

Но далее Алешковский своеобразно это компенсирует. Он описывает, как школьники выпивают припрятанное спиртное, как один из них чуть не замерзает насмерть, как его, пьяного, лупцует по щекам испугавшаяся учительница, и рассказывает, что упившийся почти до смерти школьник в будущем выигрывал олимпиады по математике и физике, окончил МИФИ, защитил вдвадцать три года кандидатскую диссертацию, но все-таки спился в тридцать лет с небольшим. Такие неуправляемые гении были в друзьях, знакомых, одноклассниках у многих.

Вот этот прием — передать известное многим через собственный уникальный опыт — удается Алешковскому блестяще. Как в случае со Шведом (тот самый любящий выпить одноклассник), так и в истории с другим соучеником автора по кличке Киска, сыном полковника милиции, ставшим фарцовщиком. Алешковский как бы пробуждает память читателя, что особо ценно в мемуарной литературе.

По мере взросления автора пинг-понг во дворе и школьные проблемы уходят в сторону. Необычайно трогательно, личностно звучат страницы, посвященные болезни отца и его смерти, но дальше юноша уже занимается

практически взрослыми делами. По примеру многих родных увлекается археологией. Его описания внешне просты, но зримы, осозаемы для читателя: «Кроме бесконечных грузиков и тонны черепков грубой лепной керамики, мы нашли на городище фигурку рыбы с симпатичными губками, вырезанную из берцовой кости быка. Кость, как водится, была полая, так что рыба получилась с широко открытым ртом. Но больше мне запомнились ночные купания в Москве-реке, шатания по Бронницам, огромная церковь с высоченной колокольней на въезде и надгробие декабриста Ивана Пущина в церковной ограде. Мы любили пройти через весь вытянутый вдоль Рязанского шоссе город, чтобы потом возвратиться в лагерь на позднем автобусе».

Книга завершается окончанием школы и описанием смерти отца, попавшего под поезд: из-за, к сожалению, обычного для советского времени отношения к людям он был отпущен без необходимых для него лекарств из больницы, где лежал в состоянии тяжелой депрессии (больница закрывалась на ремонт). Дальше у автора-героя другая жизнь, университет, другие друзья и обстоятельства.

Конечно, нон-фикшн побеждает. Конечно, визуальность так же идет впереди. А тут еще аудио-книги... Вспоминается эпизод из одного очень хорошего фильма: «Судя по твоим поступкам, ты не читал Библию! — Не читал. Я жду экранизацию!» Неизвестно, как экранизировать подобные книги воспоминаний. Однако очевидно — когда они написаны хорошим писателем, получается хорошо: «Если посмотреть на солнце или на лампочку, а потом сильно зажмуриться, перед глазами остается яркое оранжевое пятно. Оно постепенно растворяется в темноте, но никогда не исчезает до конца. Я люблю перед сном, закрыв глаза, следить за исчезновением оранжевого круга, высматривать в черноте оставшуюся от него светлую точку. След той школьной любви хранится в моей памяти и не угасает, как и все секретики, что я попытался здесь откопать и раскрыть, начиная с грибной молитвы — первого моего потрясения от невероятного чуда жизни. Возможно, я переложил ярких безделушек и переборщил с серебряным дождем (меня всегда тянуло на дешевые эффекты). В конце-то концов, мы делали их не только для себя, но и для всех, кто станет их рассматривать. Мне и теперь кажется, что это в них было самым главным».

Геннадий Кацов

## «менестреляный воробей...»<sup>1</sup>

Поэтическая книга Александра Габриэля «Чёт и вычет», шестая по счету в его библиографии, сочетает в себе несочетаемое (вычет) и находится одновременно в нескольких актуальных средах/мирах (чёт). Если провести аналогию с точными науками, то в физике это называется «корпускулярно-волновой дуализм», едва речь заходит о квантовой механике. В нашем случае речь не идет о многоплановости и многожанровости, полистилистике и полифонии, метафорике, физике и лирике в поэзии Габриэля. Вернее, так: это характерные, «коээрные» и узнаваемые ее черты, что еще до меня критиками и литературоведами отмечено, но поскольку мы здесь — о конкретной книге, то речь не только об этом.

Настоящий сборник — некий итог, избранное в масштабе четырех последних лет жизни. Они отмечены автором текстами, в которых высказаны не столько какие-то конкретные события, обстоятельства и вехи, сколько переживания, впечатления, мысли и настроения, им сопутствовавшие. Читая в фейсбуке регулярно выставляемые Габриэлем одиночные стихотворения, я воспринимал его нередко как поэта сатирического, даже юмористического. Однако, ознакомившись с корпусом его текстов одновременно, пришел к выводу, что автор скорее поэт трагический, а характерный сарказм — от осознания всей глубины трагедии, которую цивилизация сегодня переживает.

---

Александр Габриэль. Чёт и вычет: Стихотворения 2017—2021 гг. — М.: Изд-во «Формаслов», 2021.

<sup>1</sup> Из стихотворения А. Габриэля «Воробы и люди». В дальнейшем все приведенные цитаты — из сборника «Чёт и вычет».

Своё недокричав и недоколобродив, в азарте не успев нажать на тормоза, нестройная толпа голосовавших «против» разгромлена толпой голосовавших «за».

В названии — 2017—2021 годы, хотя последний еще длится. Александр Габриэль живет в США, в массачусетском Бостоне, с 1997 года. Если на виртуальную чашу весов положить предшествовавшие 2017-му двадцать лет, а на другую — последние четыре американских года, то еще неизвестно, какая чаша перевесит — по накалу страостей, поляризации социума и предчувствиям гражданской войны. Напомню, что 20 января 2017-го — день инаугурации 45-го президента, которого ненавидела половина Америки, а 20 января 2021-го — день инаугурации 46-го президента, кого не переносит вторая половина. Плюс нарастающее напряжение между этими датами.

Ни того президента, ни другого в книге «Чёт и вычет» вы не встретите. Но те или иные знаки исторической четырехлетки разбросаны по строчкам, а на реальных опасениях, летальных предчувствиях, парадоксах и вывижах настоящего времени, со всеми муками, которые они нам несут, эти строки настоящны.

Габриэль известен четкой позицией по части нынешних катастроф в США — пандемия, импичменты, расовые «мирные протесты» летом и ранней осенью 2020 года, — и он нередко выступает как политический и социальный аналитик на своей странице в фейсбуке. Так что все те беды, с которыми столкнулась страна (и он, ее гражданин-поэт) за эти четыре года, не могли не отразиться в его поэтических текстах — и в самом интонационном строе стихотворений, в их пессимистических, в основном, настроениях. И в их проблематике, с соответствующими

аллитеративными, напрягающими слух, не дающими расслабиться, рядами; и сплошь и рядом безальтернативными сюжетами.

И ты, и я — мы персонажи Босха  
с его картины «Двадцать первый век».

Казалось бы, ничего необычного в этом нет — социальная лирика, высокого литературного градуса лирика гражданская, с определенным риском для пишущего впасть в пафос, которого автор избегает, ограждаясь где сарказмом, а где иронией, — кабы не важная биографическая справка: Александр Габриэль родился и до эмиграции больше тридцати лет прожил в Минске, столице Белорусской ССР — советской республики со всеми типичными для отношений союзных республик и Центра проблемами, взращенными политикой имперского превосходства метрополии в ее отношениях с «младшими братьями», включая проблему национальной идентификации, дискриминацию, неравноправие в презентации русскоязычной культуры и культур других народов и прочие «параколониалистские» практики. Москва и после распада империи считает это пространство зоной своих интересов.

Верь лишь тому, что скажет диктор  
в «Новостях»,  
пока для всех — от землепашца до бомонда —  
идёт концерт ансамбля танца  
на костях  
ещё не втоптанного в землю генофонда.

Стихотворение называется — «Беларуси». Оказалось, опыт проживания в тех, советских, условиях помогает понять, что происходит сегодня в погрузившихся в политкорректность США, с их темой reparаций чернокожему населению, которое наравне с индейцами, коренными жителями, рассматривается сегодня как колонизированное. По логике либеральных кругов белые работоговцы и рабовладельцы и их потомки должны за это ответить. Белые — *должны*. История и настоящее, рассматриваемые через эту призму вины (если вернуться к сравнению с Россией — вины и коллективной ответственности всех русских перед народами бывшего СССР), предстают с непредставимым ранее искажением.

И смотрятся в небо набрякшие веки могил,  
ответы потеряны в майской улыбчивой сини...  
Прими же вину на себя, как в теракте — ИГИЛ  
(закон заставляет сказать: запрещённый  
в России).

Из такой предпосылки сегодня прорастают и прочие цветы зла: ложные науки, вроде этноматематики; убого-вульгарные взгляды на справедливость и равноправие; унижающие журналистику фейк-ньюс; однобокость при подходе к первой поправке к Конституции США; попытки обвинить, унизить большинство, навязав ему чувство вины по отношению к безупречным меньшинствам... Ощущение конца здравомыслия, формальной логики, света — один из основных мотивов этой книги Габриэля.

Слово будет в конце — и бесстрастно уйдет  
в тишину,  
открывая страницу в науке апокалингвистике.

Для поэта-лирика немалый риск — отход в сторону внешних, казалось бы, малых и больших трагедий, но весь поэтический строй книги «Чёт и вычет» убеждает, что эти темы могут быть интимными, если не сказать глубже — исповедальными.

Уже вполне вероятно, что нынешнее поколение американских людей будет жить при таком либерализме, что мало не покажется. Оснований так думать предостаточно, ведь история повторяется, и расклад сил в США напоминает бунт городов против системы феодальных отношений в Средневековье. И как в свое время в Англии «овцы съели людей» (у Габриэля: «И доподлинно известно: где когда-то жили люди —/ игроки, фанаты квеста, подсудимые и судьи,/ солдафоны и толстовцы изливали жёлчь и душу —/ там сегодня блеют овцы, доедая волчью тушу...»), так и в современной западной экономике крупные корпорации постепенно выигрывают конкуренцию у мелких бизнесов, а средний класс нищает с перспективой исчезнуть совсем. Все это сплетается в один клубок с пандемией, расовыми и гендерными проблемами, естественно, отцов-детей, бедных-богатых, умных-дураков и т.д. И если поэту удается все это объемно увидеть и осознать, поняв корень проблемы и пропустив ее через свои поэтические интуиции, то это — невероятная

удача как в личной творческой судьбе, так и для поэзии в целом.

Вот в твой город неспешно входит  
тroyянский конь.  
До чего интересно, что у него внутри.  
Там гранаты ребристый бок, воронёный ствол,  
там ночной цифровой прицел  
и короткий век...  
Оттого, что порой человек человеку волхв,  
человек человеку —  
часто —  
не человек.

Для поэтики Александра Габриэля характерна масса исторических, бытовых и литературных аллюзий, всегда в непредсказуемых местах, наряду с центонностью, ненавязчивой и нередко скрытой. Каждая практически строчка — удивляющий, свежий образ, метафора. И при удачных, запоминающихся сентенциях-концовках стихотворений (похоже, это у Габриэля «фирменный знак»), не меньшие находки — их названия. А в книге еще и своеобразно поименованные главы, среди которых: «Цельсий и Фаренгейт» — что ожидаемо для человека, полжизни доверявшего температуре по Цельсию, а вторую половину — по Фаренгейту; «Радио Ностальжи» и «Взгляды на декады» — травелоги по собственному прошлому 1960-х, 70-х, 80-х, 90-х и прошлому страны, которой уже нет на карте; «Наполовину пуст» и «Наполовину полон» — интонационно мало чем, на мой взгляд, отличающиеся, разве что по типу известного парадокса: «Пессимист говорит: “Хуже быть не может!” А оптимист: “Может!”»

И много ль смысла — выходить в Икары,  
чтоб крылья обломать о потолок?

Вообще же, игровое наполнение, формат игры есть основа и самого сборника, и конструктивного отношения к миру и слову его автора. Здесь можно наблюдать не только игры смыслами и подтекстами в онтологическом духе «Игры в бисер» Германа Гессе, но и главенство игрового принципа на всех трех семиотических уровнях, в той же мере, в какой игровой принцип распространяется на все сферы жизни, от философии до религиозных культов. Ведь игру можно определить как основополагающий

метод человеческой деятельности, и одна из гипотез говорит о происхождении поэзии из архаических словесных игр.

В знаменитом трактате «Homo Ludens» («Человек играющий») Хёзинга рассматривает игру как способ наиболее естественно раскрыть человеческую природу. А уж что более раскрывает ее, как не поэтическое вдохновение, по сути — наиболее рафинированная и подетски откровенная игра. Эта тяга к игре, к иррациональному теплу мира, к утробности, к утверждающей себя инфантильности, свойственная Георгию Иванову и типичная для В.В.Розанова и обэриутов, получила специфическое выражение в поэзии Александра Габриэля. И это то, что его опыт «стреляного воробья» выводит на уровень «менестреляного».

«Сотворение мира» — проект,  
неудачный весьма,  
но свободен от всяческой критики  
проектировщик.  
Вот и жизнь получилась нелепой и беглой,  
как росчерк,  
как холмистая подпись в конце делового письма.

Читатель «Чёта и вычета» настолько увлекается игрой, что доходит до абсурда. Увидев название одного из стихотворений — «Капслок» (клавиша «Caps Lock» на клавиатуре компьютера), я вдруг попробовал прочитать его в зеркальном отображении. Справа-налево у меня получился вполне по-габриэлевски *колпак*, хотя смущала буква «с» посередине. В случае же с названием еще одного текста, сомнений не было никаких: «Абырвалг» — второе, кажется, слово, которое произносит очеловеченный герой булгаковского «Собачьего сердца». Еще будучи собакой, он в обратном порядке считывал вывеску «Главрыба», что, к слову, семиотик, литературовед Б.М.Гаспаров определяет, как библейскую аллюзию: «Чтение Шариком справа налево иронически намекает на семитское письмо; само же слово «рыба» является раннехристианским символом Христа»<sup>1</sup>. Чего больше в тексте Габриэля, если отталкиваться от названия: булгаковщины, библейского символизма, российского

<sup>1</sup> Гаспаров Б.М. «Новый Завет» в произведениях М. А. Булгакова. // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. — М.: Наука; Восточная литература РАН, 1994.

историзма либо американского нынешнего ситуационизма, судите сами:

Жизнь, по сути, как жизнь. Но сварганена слишком пресно.  
Описать на бумаге — и скучно, мой друг,  
и просто.  
Не хватает безумного вуду из Порт-о-Пренса  
и размашистых ярких рифмовок  
из «Окон РОСТа».

Позабыв о проросшем в миндалины  
чувстве меры,  
по земле-кабаре словно Лайза б лететь,  
Минелли.  
И, придумав новейшую письменность,  
как шумеры,  
окончательно выйти из гоголевской «Шинели».  
Выплывать изо всех берегов, изменяя русло,  
чтоб спадала с души привычливость,  
как короста.  
Чтоб романы, которые пишешь,  
затмили Пруста.  
Чтоб поэмы, которые пишешь,  
затмили Фроста.  
Но покуда — взамен Грета Тунберг  
и рэпер Хаски,  
и потрёпанный бриг еле входит  
в проливчик узкий...  
До чего же ты, Оле-Лукойе, горазд на сказки!  
Всё бы слушал тебя да пил,  
обходясь без закуски.

Остаётся мечтать. И, по слухам —  
весьма недолго:  
не сулит ничего хорошего бабка Ванга...  
И доносит легко свои тёмные воды Волга  
до тебя, рядового сотрудника «Абырвалга».

Ещё одна аберрация: сотрудник «Абырвалга»,  
в контексте книги Габриэля, волею  
разыгравшегося воображения воспринимается  
уже как работник Абырвалга. Почти незаметная  
глазу перестановка букв — и читатель  
оказывается в одном из лагерей ГУЛАГА.  
Простите за капслок. И за столь мрачное  
путешествие во времени.

Закрыв книгу Александра Габриэля, можно  
только догадываться, кто в результате победит  
в игре («чёт» или «вычет»), где, с одной  
стороны, правила определяет поэт, а с другой —  
в роли судьи выступает государство.

И самое отвратительное, если «победит  
дружба».

Похоже, автор так не считает, поэтому в  
завершающем книгу стихотворении «Музыка»  
заключительные строки наводят на мысль  
о лучшем:

И неважно, какой нынче день или год  
и какое столетье, пока неустанно  
поднимаются ввысь иероглифы нот  
по причудливой лесенке нотного стана.

*Александр Евсюков*

## Билингва любви и отчаяния

«Краешек этой нити зарыт здесь, детка. Куда бы они ни поехали, как бы ни запутались, все равно вернутся», — так утешает и напутствует свою загрустившую о родителях внучку дед на первой странице этой книги, в рассказе «Последний ремонт». Эти слова на-

*Сати Овакимян.* «Созвездие эмигранта»: сборник рассказов. — М.: Формаслов, 2020.

писаны по-армянски, и эта нить фантомной боли проходит сквозь все дальнейшие истории, которые образно и увлеченно рассказывает нам молодая писательница, фотограф и переводчица Сати Овакимян.

«Последний ремонт» — страстное прощание с Арменией как со страной детства, сокровищницей родного языка, эпилог одной жизни и одновременно пролог следующей. Аллю-

зии к ветхозаветному Эдемскому саду здесь, конечно, не случайны: «Крошечный, размежевом с ладошку, садик на задворках с парой-тройкой фруктовых деревьев, виноградных лоз и цветов — точная копия рая». Да, там не всегда были райские отношения, но даже когда «бабушка называла меня „дурехой“», я, не понимая смысла слова, наполнялась теплом и радостью». Зияющий эмоциональный контраст подчеркнут параллельностью двух времен действия: *раньше и сейчас*. Человеческими руками, управляющими неумолимой техникой, рушится эта миниатюрная копия рая, и вернуться туда при всем желании уже невозможно.

А дальше начинаются эмигрантские сюжеты, знакомые автору не понаслышке. «Кто я?» — спрашивает себя героиня и тут же отвечает: «Обычный эмигрант, начинающий писатель, посылающий свои рассказы в бесчисленные редакции и ожидающий спасательного круга от эфемерного издателя». Разумеется, далеко не все герои и герони из сборника — писатели, но многие из них столь же наблюдательны, остры на язык и при этом обладают тонкой душевной организацией. Впрочем, сюжет — при явном умении его убедительно выстроить — для Сати Овакимян не всегда самое главное. Порой куда важнее оказывается жизнь души, приоткрытая через моментальные, но глубокие впечатления, через обновления привычных нам наблюдений с помощью иной оптики (как, например, в рассказе «Эмигрантка»). Здесь перед нами оказывается другая Москва, только что увиденная влюбленными глазами, полными боли, и именно такой будто бы впервые запечатленная.

Рассказ-судьба, рассказ-случай, рассказ-характер и рассказ-анекдот — таковы варианты малого жанра прозы по классификации одного из лучших специалистов-практиков в этой области Василия Шукшина. Если принять именно ее, то пока писательница больше всего тяготеет к яркому случаю или же к анекдоту. Случай в рассказах «Дела сердечные», «Хлеб насущный» или «Дни в ошейнике» по существу гораздо более серьезны, но и в них едва уловимо проскальзывает авторская ирония. Другие истории, такие, как «Попрошайка», «Любовь» или «Формула счастья» более анекдотичны по своей фабуле, однако благодаря

всего нескольким точным штрихам они приобретают черты притчи.

Вот новый «Нос» — казалось бы, какая самонадеянность после шедевров Гоголя и Акутагавы употреблять то же самое название! Но Сати Овакимян удается найти и свой убедительный ракурс, и свою тему. Или «Созвездие эмигранта» (впервые опубликованное в «Дружбе народов»<sup>1</sup>) — заглавный и самый большой рассказ, который занимает без малого четверть книги. При этом в нем, помимо того самого умения выстроить сюжет, сконцентрирован энергетический потенциал целого романа. Здесь обозначена глубокая социальная проблематика, выраженная смешением натуралистических подробностей, детективной и любовной линий. Вынужденное лицемерие оправдывает изощренную жестокость, а осознанный контраст утонченной лиричности с грубой физиологией только усиливает произведенный эффект.

Складывающиеся в единый ряд короткие рассказы Сати Овакимян — самобытное продолжение традиции европейского экзистенциализма. Выхваченные острым пристальным взглядом, самые болевые точки современной жизни раскрываются через драматичные ситуации. Это многослойные произведения, внимательно читая или перечитывая которые, обнаруживаешь дополнительные смысловые измерения, неожиданные переклички и аллюзии. Символов здесь также немало, однако символизм в этих рассказах, как правило, не кажется нарочитым, не выпирает из текста, а естественно произрастает из ситуаций и переживаний.

«Биограф красоты, летописец ощущений, Сати создает текст как горельефную эмблему преизбыточного мира, переполненного штучными деталями. В ее рассказах читатель живет полнокровными чувствами, дышит, радуясь картинам ее щедрого кино», — справедливо отмечает прозаик и редактор Елена Черникова. В самом деле, это редкая книга — такие вещи точно не пишутся в теплохладном состоянии с самодовольным профессионализмом. А рождаются они только у человека с наэлектризованными нервами и с упрямой верой в волшебную способность настоящего, неподдельного творчества поменять чью-то жизнь.

<sup>1</sup> См.: «ДН», 2019, № 9.

Эту книгу можно назвать редкой еще и потому, что она написана автором сразу на двух языках. Таким образом, кроме фактической эмиграции персонажей на наших глазах происходит также лингвистическая эмиграция из одного языка в другой. Два финальных рассказа уже не переводные — они созданы сразу на русском. При этом отмечу, что «Обертона одиночества» тематически ближе к предыдущим историям, написанным по-армянски, а вот «Без любви» освещает ту самую новую карантинную ситуацию, в которой мы вместе со всей планетой оказались в прошедшем году.

«Без любви» показывает нам ситуацию по-граничья, сюра, видений и снов более реальных, чем явь с надломом внутри, когда счет дней потерян, а карантин уже кажется дурной бесконечностью. «Когда пятеро взрослых и один малолетний встречаются вечером, после работы — это ничего, но сейчас мы вынуждены видеть друг друга с утра до ночи, днем и вечером, каждую минуту, секунду встречаться взглядами, слышать, взрываться, орать, ненавидеть и показывать свое отношение друг к другу. Я хочу ускорить это чертова время, хочу утопить все маски, павильоны новостей, откуда бесконечно передаются слова „карантин“, „пандемия“, „коронавирус“».

Один из важнейших сквозных образов всей книги — голубь (вновь отсылка к Библии) — намертво впечатывается в память именно в финальном рассказе. И какая отчетливая закольцованность композиции: бескрылая курица, запеченная в первый день карантина, — и крылатый голубь, который прилетает как добрый вестник к окну героини и тоже оказывается отнюдь не в безопасности!

Творчество кажется последним прибежищем и спасением. Иллюзорным ли или же настоящим — нам, увы, не дано знать заранее. «Я продолжаю писать. Литература — самый приятный наркотик, оправдывающий существование таких самоизолированных, как я. Наша жизнь находится на грани снов. Это немного страшит, так как сейчас на нашей планете все до единого видят один и тот же сон. Это как если в темном зале кинотеатра включить фильм определенного жанра и заставить всех смотреть именно этот фильм. Я так и не полюбила кино. Моя любовь — театр, порывистый и искренний, без лживых монтажей, сцен, снятых общим, средним и крупным планом», — очевидно, что это признание не только героини, но и автора (кстати, театроведа по образованию). Искренний порыв оживляет каждый, даже самый короткий из ее рассказов. Вместе же рассказы создают цикл ярких осколочных изображений, так что жанр всей книги я бы определил как «повесть-мозаику», посвященную сладостным мытарствам и горьким обретениям.

«...Еще много всего предстоит сделать», — таковы последние слова в этой книге. Но, определенно, не последние в творчестве Сати Овакимян. И я не сомневаюсь, что благодаря многогранному таланту, упорству и пристальному вниманию как к сокровенным особенностям внутреннего мира, так и к наиболее важным тенденциям мира внешнего, многие ее интереснейшие творческие открытия ожидают нас в будущем. Возможно, уже в самом скором.

## Правила игры

*Борис Минаев*

# Куклы Резо, или Проблема снятия

Тбилиси вспоминается как какой-то сон.

Ходил по городу как зачарованный, смотрел в старых районах практически на руины, но при том совершенно живые, очаровательные, полные загадок и тайн. Хотелось прикоснуться буквально к каждому камню, каждой трещине в стенах с облупившейся штукатуркой. Потом были новые открытия — мы проехали Кахетию, отправились в горы... Я почему-то все время думал о том, что и природа соразмерна иозвучна старому Тбилиси — город словно вырастал из грузинского языка, из природного ландшафта, из характера нации, я такого вообще нигде прежде не видел.

Особенно усилилось это чувство, когда мы добрали до театра марионеток Резо Габриадзе.

...Удивительным показалось, кстати, что сами тбилисцы не очень-то представляли, где находится театр Резо. Башню с куклами знали, часы знали, а вот про театр — нет. Переспрашивали, отправляли нас в драматический имени Руставели, пожимали плечами, хотя мы стояли в ста метрах. К тому моменту театр Габриадзе находился на Шавтели, 13 — уже больше двадцати лет. Но для Тбилиси он был слишком новым, еще непривычным. Тбилисцы продолжали жить в своем мысленном, воображаемом Тбилиси, где улиц по-прежнему старые названия и *ничего плохого* еще не случилось.

Зная, вероятно, об этой черте горожан: жить в своем мысленном Тбилиси (он, кутаисец, правда, и сам был таким), — Резо выстроил вокруг своего маленького театра целую инфраструктуру, наставил опознавательных знаков. Кафе с удивительным интерьером (кстати, в Москве тоже есть кафе с интерьером, который Резо оформлял лично, своими рисунками и инсталляциями), волшебная башня странной витиеватой конструкции, как будто вылепленная ребенком из пластилина, на ней крутятся его персонажи, бьют волшебные часы с золотым ангелом — все это должно притягивать вас сюда. Вокруг башни всегда собираются люди с детьми, но вот, поди ж ты, многие так и не замечают, что тут же, совсем рядом, в маленьком подвальчике находится театр.

Все, что тут им сделано, обладает этим качеством скрытности, запретности, тайны, как в детской сказке, как в театре Буратино, за маленькой волшебной дверью в стене.

Совсем иначе было в Москве. В 90-е и нулевые годы спектакли театра марионеток Резо Габриадзе становились оглушительными сенсациями, на них невозможно было попасть. Люди готовы были платить страшные деньги, стоять в очередях (в наше-то время), чтобы увидеть эти почти «детские» кукольные спектакли. Если бы театр Габриадзе располагался в Москве, билеты, я уверен, пришлось бы покупать за год, за два, не меньше.

Мне кажется, Резо имел все возможности перенести свой театр в Москву. Но не стал. Напротив, — он распорядился так, чтобы гастроли театра всегда оставались чудом, волшебным подарком. И никогда не превращались в рутину.

Вообще для всех нас это было важно не только эстетически. В любви интеллигентных москвичей к Габриадзе выражалась, конечно, и какая-то форма протеста. Внутреннего, невысказанного протesta против новой агрессивной и страшной эпохи разрыва. Помню, как в августе 2008-го мы с женой были потрясены обрушившейся на нас из всех эфиров грубой антигрузинской пропагандой, самим фактом войны, самой истерикой войны — и не нашли ничего лучшего, чем пойти в старый грузинский ресторан, что-то ели, довольно свирепо, а потом вдруг заиграли на сцене «Сулико», и это был, конечно, горький обед — обед сквозь слезы отчаяния. Еда была горькой, а слезы сладкими.

Габриадзе всегда как-то по-своему отвечал на эту боль разрыва. Он ее очень чувствовал.

В работе он был, насколько мне известно, человеком крайне упорным, дотошным, скрупулезным, и поскольку речь шла о вещах воистину «ручной работы»: куклах, рисунках, декорациях, фильмах, — то «вылизывал» каждую мелочь, доводя своих сотрудников порой почти до бунта. Но именно эта тщательность давала потом ощущение легкости, беззаботной импровизации, гениальной случайности.

Была в его популярности еще одна особенность, которая редко артикулировалась. Габриадзе, мне кажется, был первым, если можно так сказать, «грузинским грузином», который стал настолько популярен в Москве и вообще в России. Людей с грузинскими корнями и фамилиями здесь всегда было немало, но одно дело, например, Булат Окуджава, который даже на родном языке-то не говорил. Или Данелия, — снимавший чудесные фильмы о Грузии, о грузинском характере (кстати, по сценариям Габриадзе) — но все-таки и он всегда оставался «московским грузином», все его корни были в русской культуре (недаром Евгений Леонов — любимый актер).

Так вот Габриадзе был первым «грузинским грузином» (хотя и много жил в Москве), который эту невидимую грань переступил.

Вторым таким человеком был, конечно, Зураб Церетели, но они настолько противоположны, настолько различались по типу своего творчества, что вот сейчас, когда я думаю об этом, меня мучает «смутная догадка» — в том, как далеко расходились монументальная безвкусница у одного и громадное художественное обаяние крошечной миниатюры, совершенство детали у другого, видится нечто парадоксально-связывающее их обоих.

...У него, в его спектаклях, книгах, рассказах, рисунках — был странный дар «снятия». (Снятие — *Aufhebung* — понятие в философии Гегеля, обозначающее

момент развития, «в котором соединены как отрицание, так и сохранение, утверждение»).

Что я имею в виду? Самые страшные, тяжелые исторические реалии, от которых невозможно избавиться, невозможно их вытеснить из сознания, — он превращал в свои «диалоги для марионеточного театра», по сути дела — в легкие истории, почти анекдоты. Самый возвышенный пафос снижал. Самый железобетонный конфликт «добра со злом» — именно что «снимал», превращал в шутку и иронию. Железобетонный, жуткий, состоящий из колючей проволоки и нищеты мир 40-х и 50-х — война, разруха, гибель миллионов, Сталин и ГУЛАГ — приобретал в его творчестве черты мифа, мифа о победе над временем, над этим страхом.

Мне кажется, именно это умение «снять» наш страх перед историей, перед пропастью большой истории — лежало в глубине его творчества.

Так вот, о «снятии». Габриадзе ведь был не просто «сценаристом» или «художественным руководителем театра марионеток города Тбилиси», он был писателем прежде всего. Великим писателем, пусть недопроявленным, чуть-чуть застывшим в некоем облаке, хаосе творчества, с этими своими образами, шутками, скетчами.

Кстати, его «Рамона» была напечатана именно в «Дружбе народов».

В 2019-м он стал лауреатом премии имени Бабеля (присуждается в Одессе) за лучший рассказ на русском языке. Рассказ назывался «Топиарное искусство» — в общем, тоже как бы пустяк, шутка, мелочь: про то, как в городском парке искусствый садовник подстриг один куст под профиль Ленина, а другой под профиль Сталина. И вот начальство напряженно думает, что делать с этим патриотическим произведением — палкой снег сбивать нельзя, подстригать ножницами тоже, в общем, страшное дело. А дальше, как пишет Габриадзе, случилось вот что:

«Дожди, а за ними солнце сделали чудеса! Вегетация поразила вождя! Природа победила вождя! Посаженные рядышком растения, нужные для сходства, распустились в своем естестве! Бородка Владимира Ильича зацвела отдельным кустиком, и из нее дрожали лягушки! С затылка к темечку убегали нежные нарциссы! Лицо Ильича еще читалось. Из носа вождя выглядывала жантильная кокетливая мимоза! На лбу Ленина чубчиком висели гиацинты! Два равносильных ветра развернули меня и, крутя, понесли в темноту, где гудел Сталин! В его трубке цвели алые розы. На щеке Сталина лежала белая чашка магнолии в богатом платье, порочно раскрыв всю себя! Агрессивные солнцелюбящие лианы оторвали от головы Сталина маршальскую шапку, и она ходила в небе точно в приветствии с трибуны мавзолея!»

Так работало это «снятие» в творчестве Габриадзе. Не он придумал этот прием, — но у него он достиг совершенства. Смеяться, улыбаться, иронизировать над эпохой, в которой было столько крови и столько жертв — это требует особого вкуса и особого мужества. У Габриадзе они, конечно, были. Стальному пафосу «великой эпохи» он сумел противопоставить не перечень страданий, не ненависть, не гнев или отмщение, — а именно освобождающий смех. Наивысшего пика это чувство достигло в анимационном фильме «Знаешь, мама, где я был» — по рассказам и рисункам Габриадзе, где смешные, нелепо торчащие и шевелящиеся усы Сталина — «снимают» не только страх, но и фальшивое, дутое «величие» той эпохи.

На это «величие» он смотрит глазами простого горожанина, обывателя, маленького человека — и оно рассыпается в прах. Справедливости ради надо сказать,

что Габриадзе умел «снимать» любой пафос: в «Сталинграде» это пафос войны, в «Рамоне» — пафос «великой любви», в «Бриллианте маршала де Фантье» (именно его мы и смотрели в Тбилиси) — пафос «национальной гордости», в его рисунках к книге Андрея Битова о Пушкине — пафос «великого русского поэта». Он никогда не спорил с содержанием пафоса, с самими «высшими материями». Но он смеялся над их раздутой до самолюбования формой.

...Габриадзе некем заменить, потому что он был рожден как ответ на вызов времени, вновь заболевшего «величием». Ответ был дан, но эпоха по-прежнему упрямо смотрела в другую сторону, по-прежнему вынашивая свирепые планы реванша.

Но сам Габриадзе — остался.

На его «башне» в Тбилиси будет по-прежнему появляться золотой ангел и отбивать часы, и будут кружиться его кукольные персонажи. И перед ней будут собираться люди с детьми. Башня вроде бы падает, но никогда не упадет — в отличие от царств, империй и идеологий, потому что она стоит на чувстве юмора и волшебной легкости бытия.

## Культурная хроника

*Язгуль Тиркишова*

# Мир, в который хочется войти...

Природа таланта Заслуженного деятеля искусств Туркменистана, художника Чары Хуммедова сложна, его дар — поэтически метафоричен, созерцательно глубок. У него свой художественный почерк, который не перепутаешь с манерой другого художника. Живя вдалеке от центров культурной жизни, Чары Хуммедов сформировался как самодостаточная творческая личность, черпая темы из окружающего его мира, из традиций народа, из его повседневного быта и философии. Через них раскрывает себя мировосприятие художника — постижение красоты и одухотворенности человеческого лица, пластики и движения тела, игры солнечного света...

Эти темы продиктовали и особую стилистику картин с их крупными планами, приближенностью персонажей к зрителю, широким мазком, приглушенным колоритом. Его неповторимый почерк: — напряжение цвета, плотность или прозрачность фактуры краски, выверенное движение мазка — был выработан кропотливыми поисками мастера.

Основа его творчества — фундаментальная школа. Годы учебы в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова запомнились как самые счастливые, хотя часто бывало, что юный художник замерзал от московских морозов. Но в кармане лежал студенческий билет, который был пропуском во все музеи российской столицы, и это согревало душу. В Москве он самозабвенно постигал тайны живописного мастерства, но все эти годы сердцем был дома. В краю, где приветливые люди и высокое, чистое небо, бескрайние пески и щедрые сады, а еще — круглый год яркое солнце....

Запечатлеть мгновение, обрачивающееся вечностью, — один из главных смыслов творчества Чары Хуммедова. Как в поэзии необходима предельная верность ритму слов, так и в живописи нужна максимальная точность композиционного ритма, преобразующего многомерную полифонию времени в сжатую визуальную метафору холста. Работы художника сюжетно традиционны, но обогащены величием русской и европейской классической живописи. Взгляду мастера доступны различные степени постижения смыслов, разная скорость проникновения в сущность формы, это взгляд человека, чувствующего ответственность за характер отображаемого им мира. Оттого и образы его почти всегда чувственно пластичны и осязаемо возвышенны.

---

Язгуль Тиркишова — заместитель директора Историко-краеведческого областного Марыйского музея.

Чары Хуммедов, как правило, немногословен, задумчив, закрыт. Но если вам удастся его разговорить, то станет понятно, как рождаются образы, откуда они приходят, как просятся на холст и как мастер дарит им жизнь. «Не нужно ждать, когда придет вдохновение. Мир наполнен этим волшебным состоянием, — рассказывает художник. — Когда я пишу, я живу! Порой кажется, что меня вдохновляет все, что окружает. Вдохновляет очарование окружающего мира, красивая музыка и поэзия, молчание ночи, трепет ветерка, шелест листьев, рябь воды и звонкие голоса детей... Мир настолько прекрасен, что даже великие художники его лишь цитируют». Мне кажется, именно в этих словах стоит искать ответы на вопросы, чем живет мастер. И еще одно качество Чары Хуммедова, о котором нельзя не сказать: его скромность, искренность, какая-то особая внутренняя чистота и просветленность.

В его мастерской можно увидеть портретные циклы, пейзажи, натюрморты, графические серии и этюды. Зритель имеет возможность увидеть мягкие, тонкие и вместе с тем пронзительные образы, воплощенные на его полотнах. Все произведения, как части мозаики, складываются в наиболее полную ретроспективу творчества мастера и отражают многогранный талант художника, которому подвластны и акварель, и карандаш, и темпера, и масло, и смешанная техника. Здесь сразу попадаешь под обаяние гармонии и деликатности колорита представленных работ. На его полотнах нет буйства красок, но в то же время от них не веет холодной суровостью или безразличием. В работах Хуммедова зрители открывают для себя неповторимую эстетику формы и цвета, где восточная созерцательность как магнит притягивает к картине.

Художник прекрасно знает и чувствует народные традиции, быт, нравы и особенности национального характера. Он с огромным уважением и вниманием относится к людям, которые являются главными персонажами его картин. Готовятся ли они к свадьбе, работают ли в поле, ткут ли ковер, слушают ли с благоговением рассказывающего какую-то удивительную историю старика или делают первые в своей жизни неуверенные шаги, заботливо и бережно поддерживаемые руками матери, — все эти незатейливые сюжеты звучат в произведениях художника на высокой ноте.

Знакомясь с его работами, ощущаешь, насколько в руках и мыслях художника сильна генетическая память образов, мотивов, знаков, стилистики традиционной культуры. Близки и понятны многим мотивы его картин, взятые из детских воспоминаний и переплетенные с коллективной памятью народа, его историей. Большинство работ художника — плод его творческого мировосприятия, сгусток накопленных переживаний и впечатлений из детства и юности.

Особый источник его вдохновения — женские образы. Его картины и есть симфония любви к женщине. В них передана одна-единственная исповедь мастера — признание в любви к жизни, которая, в облике маленькой девочки, мечтательной девушки или умудрённой и усталой женщины предстаёт перед зрителями.

Произведение «Дождь» особенно дорого художнику, с ним его связывают особые отношения. Когда-то так называлась дипломная работа Хуммедова. В том, самом первом «Дожде», было стремление прорвать «границы», найти новый язык искусства, отличный от реализма, уже исчерпавшего себя, попытка отойти от «достоверной» интерпретации действительности. В этой работе воплотилось первозданное восприятие мира, исполненного жизни, мира, эмоционально родственного людям. Потом были десятки «Дождей», художник возвращается к этой теме вновь и вновь, будто желает

вернуть воспоминание или что-то пережить вновь... Что такое дождь? Противостояние? Соединение? Надежда? Или радость обновления? Мы свободны, открыты, мы перед распахнутой дверью...

Хуммедов не перегружает композиции излишней пояснительной символикой, для него важнее эмоциональная передача темы, то, что можно прочесть «между строк», то, что чувствуешь, не дотрагиваясь. Художник не вдумывается в эти определения, он просто творит.

«Не всегда реалистичен натурализм, нет надобности в скрупулезной передаче всех элементов действительности, — уверен мастер. Более того, такие работы зачастую бывают просто безжизненны, лишены души. Реалистична правильно поднятая тема, то, что по-настоящему близко всем и каждому, а не сама форма подачи этой темы».

Сегодня большой и гостеприимный дом Чары Хуммедова, где живет его многочисленная семья, полон детских голосов и смеха, здесь часто звучит красивая музыка. А сам художник напоминает могучее дерево с раскидистыми ветвями. Он полон планов и увлечен работой. В его новых картинах самым удивительным образом переплелись современные темы, идеи, образы и древнейшая философия Востока, в основе которой лежат верность идеалам, поиск своего жизненного пути, стремление человека к самосовершенствованию и гармонии. А главное, у художника есть свой мир — чудесный мир, в который хочется войти. Здесь каждый зритель сможет открыть что-то близкое себе, истинное и понятное.

---

## ХУДОЖНИК ЧАРЫ ХУММЕДОВ



Дождь



Беседа



Дестан (Сказание)



На берегу



Вечер



Сон



Портрет девушки



Девушка с дутаром



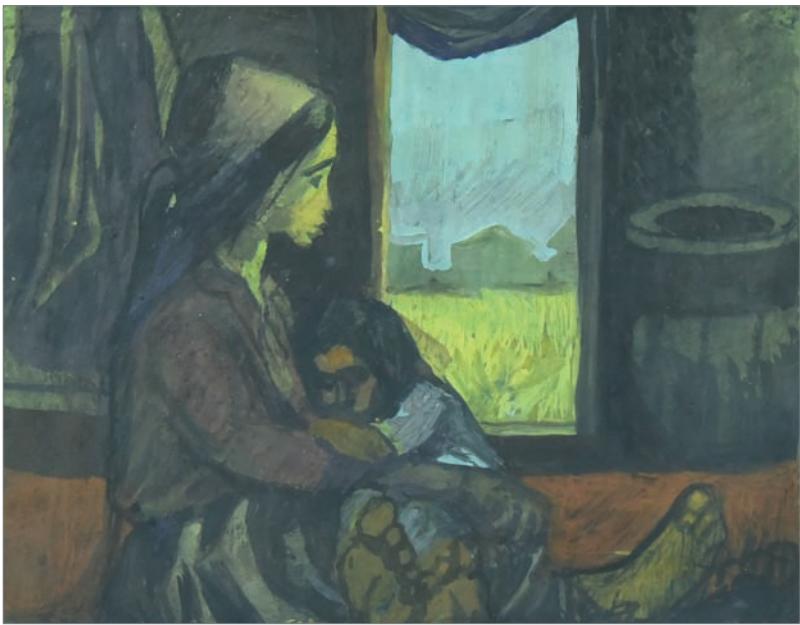
Три подруги



Полдень



Создание кошмы



Дома

# *Summary*

Zhenya Dekina. Kropal

This novel is a cut of today's social underworld, the history of one kilo of hashish making its way from the manufacturer in the Chui valley to the consumer in Moscow. Everyone of those who are trying to make money from the forbidden potion is sure he doesn't do anything bad, he's just got nailed and this is his chance to escape, his ticket to the better life. But in reality everything turns out to be a tragedy.

Poetry

The poetical cosmos of Vyacheslav Shapovalov extends in time and space from the first words of Adam to the silence of the "tailstorage". Lyubov Kolesnick states that "Man is labour to a man". Variations on the theme of our contemporaries' being are picked up by Aigerim Taji and Anna Gedimin's lyrical memories about her precious loved ones.

Yourij Kagramanov. The Time (and the Burden) of the Black?

In his deliberately provocative, politically non-correct essay the culturologist Y. Kagramanov, basing on the American, Western European and Russian (including the Russian bolsheviks) historical experience, meditates on the new spiral turn of the racial question in the USA.

Olesya Nickolaeva. Fragments of the future book

In this issue we present two portraits from the future book by O. Nickolaeva "Russia, Lethe, Lorelei": of the "formalist-poet" Semen Kirsanov and the "tribune-poet" Evgenij Evtushenko.

Evgenij Abdullaev's personal heading "Literary Barometer"

"Erstwhile the words "order bearer" sounded proudly. Now it often only causes a grin. So many medals has been established and conferred that they mean almost nothing now. With the exception of a few like the Golden Star of the Hero", — recalls E. Abdullaev and bringing us back to the site of today's literary process observes: "The same thing takes place now with the Russian literary awards" and invokes: "Don't litter with the awards!"

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанацодов.ком>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**  
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»


**9/2021**

## Читайте:

**Лиана Шахвердян. Роман «Руки — реки»:**

«— Гурджиева всегда тянуло на породистых... — задумался Сталин, глядя в сторону окна. Неожиданно заметил: — Мы с Гурджиевым учились в одной духовной семинарии: наверняка пересекались. — И как бы на что-то намекая, продолжил: — Подобные пересечения остаются на всю жизнь... Друзья детства, юности знают о тебе больше, чем кто-либо... А ведь с тех лет прошло полвека!»

— Таких, как она, у Гурджиева было много, — не понимая, к чему клонит вождь, заметил Берия.

— Похоже, что у него к ней был другой интерес... — У тебя есть основания так думать?

— Нет, но... — начал было Берия.

— Не надо, Лаврентий... Не забывай, что Даниел Александрович годами ходил под царской охранкой. Он что, по-твоему, настолько глуп, чтобы не понимать, что за ним будут следить?

— Он не понимает, за что его посадили, Иосиф Виссарионович...

— Не понимает. Что ж, на суде он все сказал...

Дотянул... Как он, кстати?

— Плох. Не жилец.

— Не жилец... — повторил Сталин, пыхнув трубкой. — Можно сказать, что земной суд он выдержал, так сказать, — прошел. У смерти — лицо предателя... Ну что же? Его все предали... Ведь так, Лаврентий? Нам ничего не остается, как передать его другому суду... Думаю, там... его ждет большая удача!

Берия поспешно кивнул в знак согласия, хотя решительно ничего не понимал...»

